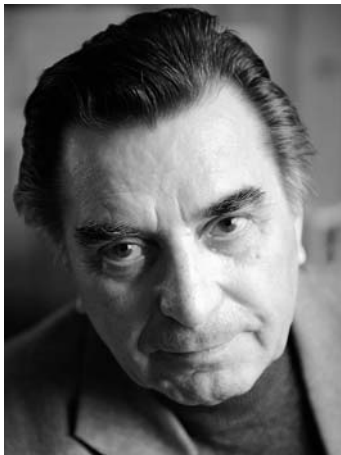


ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН



ХОЛЕРА

РАССКАЗ

*Помни дальнего своего, ибо каждый из нас есть прошлое, и каждый из нас будущее есть...*

Молодой мужчина лет тридцати с небольшим, выше среднего роста, в светлых брюках и белой тенниске, решительно открыл входную дверь в Дом печати и с явным удовольствием вошел в прохладу вестибюля. За спиной осталась душно-знойная улица миллионного города, над которым уже к десяти часам утра, когда в редакции начинался рабочий день, повисало, словно из расплавленного стекла, сизовато-прозрачное марево. Кивнув вахтеру, мужчина бодро рванул вверх по лестнице, перешагивая сразу по две ступени. “Сайгак! — с доброй завистью подумал вахтер, глядя ему вслед. — Соседи не верят... Казарин, считают, в годах... а он пацаном прыгает...”

На втором этаже Дома печати располагался наборный цех. На третьем — издательство со всеми службами и отделами. На последнем — четвертом — редакция областной газеты. Вправо и влево от лестничной площадки расходились два коридора с кабинетами по каждой стороне. В центре, на стыке коридоров, под мраморной доской с фамилиями погибших журналистов стояли несколько кресел и небольшой столик. Здесь всегда сидели посетители. Одни дожидались, когда придет назначивший им встречу корреспондент, другие, как говорил заведующий отделом писем Михайлов, пытались “коротко изложить километры жалоб”...

---

*ЩЕПОТКИН Вячеслав Иванович по профессии журналист (окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова). Работал в областных молодежных и партийных газетах Волгограда, Ярославля и других городов. Полтора десятка лет — в “Известиях”: корреспондентом по Казахстану, зам. редактора отдела, обозревателем. В настоящее время работает в парламентском журнале “Российская Федерация сегодня”. В “Нашем современнике” публикуется не впервые.*

Стремительно войдя в холл, Казарин безразлично скользнул взглядом по сидящим в креслах посетителям и повернул направо, к своему кабинету.

— Андрей Петрович?

Позвавший как бы сомневался: того ли он окликнул? Казарин остановился:

— Да, я Андрей Петрович.

Тут сразу все трое ожидавших встали с кресел.

— Не узнаете? — спросил невысокий, полноватый мужчина с большими залысинами ото лба. Судя по голосу, это он окликнул Казарина.

— Дэ-э... как сказать... дайте вспомню...

— Захаров я. Валентин Иванович. Председатель профкома с фарфорового завода.

— Да-да-да, — зачастил Казарин, напряженно вспоминая.

— А это Кузьмин... Игорь Константинович... Наш художник... Вы его видели.

— Можно Игорь, — с некоторым смущением басовито сказал светловолосый парень. Он понял, что Казарин их не узнаёт и даже удивлен появлением троих мужчин.

— Собирались, как всегда, на Волгу... ну, где всегда... туда, в низовья, — заговорил третий — горбоносый, с черной шевелюрой мужчина. — Но Валентин сказал: вы звали на Дон. Там вроде рыбалка — мама родная!

— Ну да, я им сказал: Андрей Петрович, когда был у нас на заводе, звал к себе... Говорил: Дон не сравнить... Вот мы и приехали. Тройка наша... Это — Сергей Михалыч.

Захаров показал на горбоносого и растерянно замолчал. Повисла тягостная тишина. Казарин хотел было дежурно спросить: “Чем могу помочь?”, с той интонацией, после которой люди поспешно говорят: “Да нет, нам ничего не надо” и обе стороны, стыдясь возникшей неловкости, торопятся разойтись. Вдруг его словно пронзило. Он вспомнил все: и завод, и Захарова, и даже, кажется, горбоносого.

— Ё-моё, ребята! Как же я сразу-то не врубился? Здорово, Валентин Иванович!

Казарин с чувством обнял Захарова, быстро оглядел остальных. Те тоже заулыбались, отмякли.

— Чай-то только из вашего сервиза пью. Ничего другого не признаю. Все: ты где такой сервиз достал? Ну, я им говорю... Но разве все расскажешь?

\* \* \*

Год назад, также летом, Казарина вызвали в военкомат.

— Поедете на переподготовку. Совершенствовать военную специальность. Вы специальность-то свою военную помните?

— А как же! — самодовольно ответил Казарин. — Спецпропаганда в войсках и среди населения противника.

В чем эта пропаганда заключается, он представлял смутно. Из всего обучения на военной кафедре в университете запомнил только призыв, который надо было писать вверху каждой листовки: “Прочти и передай товарищу!”. А главное, немецкий язык, на котором предстояло вести “пропаганду”, он знал, как сам признавался, в объеме “взять в плен или сдать”. И демонстрировал это в лицах какой-нибудь очередной увлеченной слушательнице: “Хэндэ хох!”, “Гитлер капут!”.

Но несмотря на это, название своей военной специальности произносил с почтением. Чем-то таинственным отдавали эти слова, известным только узкому кругу посвященных. Поэтому, когда в военкомате сказали, что переподготовку он будет проходить в Москве, в Военном институте иностранных языков, редакционный приятель Казарина Юрий Шведов без всякого сомнения заявил: Андрея берут для подготовки в разведчики. На вечеринке по поводу отъезда Казарина, сильно выпив, он приставал к сомневающимся.

— Какого кандидата им еще надо? Молодой? Молодой. Симпатичный? Спросите любую нашу женщину. Вы знаете, как его зовут Лидия Федоровна? Секретаршу редактора Лидию Федоровну знали все. А как она называет Казарина, не знали.

— Она его зовет Граф. Весь из себя элегантный. Ну, скажи, Ира: хорош Андрей для шпиона?

— Он для всего хорош, — со знанием отвечала сотрудница отдела культуры Измайлова — тормозящая молодость дама.

Казарин вместе со всеми посмеивался над шведовской фантазией, но в глубине души полностью такую возможность не исключал. “Чем черт не шутит? Может, и правда берут на смотрины? Не искать же им среди женатых”.

Однако, приехав в Военный институт иностранных языков, понял: никаких тайных планов относительно него не было. Обычная переподготовка. Собрали людей из разных мест, разных возрастов, разбили на группы по десять человек, и началась языковая муштра. Утром, входя в аудиторию, преподаватели здоровались на немецком и вечером на немецком же прощались с “партизанами” — так в кадровой армии называли призванных “из гражданки” на переподготовку офицеров запаса.

Перспектива муштры Казарина не устраивала. Запоминать военные термины, которые ему никогда не пригодятся, он категорически не хотел. Заявил новым знакомым, что он пацифист, что за мир во всем мире и учиться допросу пленных не собирается. Преподаватели сначала спрашивали заданное, потом махнули рукой: пусть хотя бы сидит в аудитории.

Но Андрей и этого не хотел. В выходной день съездил к давнему товарищу Антону Орлову, с которым работал в молодежной газете в годы своих скитаний. Теперь располневший, добродушный, с манерами аристократа Орлов — потомок известного графа-декабриста, служил в профсоюзном журнале, через который надеялся получить прописку и квартиру в Москве.

Казарин уговорил Орлова дать ему командировку на какое-нибудь интересное предприятие в Подмоскowie. Будут деньги, чтоб до отъезда посидеть в ресторане Дома журналистов, потом Андрей напишет материал (Орлову польза), а получив гонорар, снова не забудет товарища.

Орлов полистал свои записные книжки.

— Давай на фарфоровый завод. Ты видел, как фарфор делают?

— Не-а.

— Заодно посмотришь. А мне чашку привезешь.

Дело оставалось за “малым”: изловчиться уехать на несколько дней из воинской части.

\* \* \*

Начальник курсов полковник Агеев сразу заинтересовал Казарина. Не-высокий, молодцеватый, сохранивший выправку, он выглядел типичным офицером мирной поры. К тому же не армейским, из строевой части, а “паркетным” шаркуном, не нюхавшим пороха даже на учениях. Такие особенно раздражают офицеров-строевиков из дальних гарнизонов. Андрей помнил, как глядел капитан части, в которую они студентами приехали для завершения военной подготовки, на прибывших с ними полковников и майоров. В пропотевшей гимнастерке, в фуражке с разводами от пота, в стоптанных ежедневной маршировкой сапогах он с презрением и завистью смотрел на новые, еще скрипящие португели, не знающие проселочной пыли гимнастерки, не сбитые о камни сапоги, и этот взгляд лучше всяких слов рассказывал, кому на Руси служить хорошо.

Таким же столично ухоженным выглядел и Агеев. Но все представления путала звезда Героя Советского Союза и эмблема танковых войск на погонах.

Для участника Отечественной войны он был, по убеждению Казарина, молод. А где танкист мог получить Героя после войны, Андрей не знал. Поэтому разговор о командировке решил начать издалека.

— Николай Иванович, скажите...

— Какой я вам Николай Иванович! — оборвал Агеев. — Не знаете, как обращаться?

Казарин соорил сконфуженную физиономию.

— Знаю, знаю... Но я — глубоко штатский человек, товарищ полковник. Я журналист.

Выпятив грудь, высокомерно заявил:

— Меня больше интересуют люди, их судьбы. Скажите, о вас писали? Вот вы Герой Советского Союза. За что получили?

Нахмуренное лицо Агеева посветлело.

— За Курскую дугу.

— Как! — изумился Казарин. — Вы воевали? Сколько же лет было, когда дали Героя?

— Двадцать.

— О вас писали?

Полковник с интересом посмотрел на “партизана” в лейтенантских погонах. Обычно этих людей не удается подтянуть даже за долгие трехмесячные курсы. Гимнастерки сидят мешком, животы нависают над ремнем, брюки мягкие, пилотки напялены на головы, словно ими хотят согреть уши.

А у этого пилотка сидит, как надо: верх острый, сама набочок; на гимнастерке спереди ни одной складки; сапоги, хоть и солдатские, но начищены до тусклого блеска.

— Писали, — неохотно сказал Агеев, и Андрей понял, что писали давно и, скорее всего, мимоходом.

— Надо будет о вас рассказать, Николай Иванович. Сделать хороший очерк. Сейчас друзья просят съездить на фарфоровый завод... Вот отпишусь...

Он быстро глянул, какотреагирует полковник на Николая Ивановича и слова о поездке. Полковник млел.

— А после займемся вами, — тоном мэтра закончил лейтенант.

Поездка на завод была в кармане.

\* \* \*

— Вы как же без предупреждения? — спрашивал Казарин то Захарова, то горбоносого, ведя всех троих к себе в кабинет. — А если б я был в командировке?

— Да мы, случай чего, на автобус — и к Дону, — отвечал горбоносый Сергей Михайлович.

— Не-е... Эт как пальцем в небо. Дон — большой.

— Ну, нашли бы, где удочки помочить, — улыбался Захаров, довольный, что Андрей Петрович его узнал и, кажется, хочет помочь. А Казарин, пока вел гостей по коридору, пока рассаживал их в кабинете, крутил в мыслях один вопрос: как отправить людей на Дон? Ведь он действительно звал Захарова с его компанией к себе. Теперь Андрей все вспомнил до мелочей.

Сначала с председателем профкома Захаровым разговор не получался. Казарин не знал, в чем заключается его работа, а тот, думая, что приехал знаток профсоюзных дел, которому все известно лучше, чем самому Валентину Ивановичу, говорил скупо, односложно. Вечером в заводской гостинице, которую сделали из обычной трехкомнатной квартиры в типовом доме, Захаров достал из холодильника заранее поставленную туда водку, порезанную колбасу, хлеб, овощи. После третьего или четвертого налива кто-то из двоих зацепил рыбалку. И понеслось. Про случаи. Про снасти. Про места. На время забыли даже о водке. Вспомнили. Налили. Казарин поднял рюмку.

— За хороших людей.

— Это за кого?

— За нас, конечно. За рыбаков!

— А-а, это верно. Хотя жена говорит: нет другого дурака, окромя как рыбака.

Выпили, презрели захаровскую жену. Валентин Иванович — гримасой и взмахом руки, но такими красноречивыми, что Казарин опешил: зачем живет, если настолько отвратительна? Сам он был холост. Вернее, разведен. Упивался свободой, крепким здоровьем, выносливостью племенного жеребца в постели. Последнее, как кроликов к удаву, притягивало женщин: хоть свободных, хоть замужних, в результате чего менял он их с азартом, но без вражды.

После упоминания о жене разговор перетек к житейским делам. Казарин был человеком болтливым, открытым и хвостоватым. Рассказал, откуда сам, как попал на фарфоровый завод (конечно, без особых подробностей), дотошно попытал Захарова.

Все остальные дни командировки влюбленный председатель профкома не отходил от Андрея. А тот, не скрывая, что ничего не знает о фарфоровом производстве, прошел с расспросами весь технологический путь. В цехе сырья тер в пальцах белую глину — каолин, глядел на обжиг в муфельных печах. Но особенно долго стоял возле художников. Больше всех ему понравилась работа Игоря Кузьмина — он сейчас ясно вспомнил ловкие движения кисти, черную тесемку на голове у парня, чтобы не распадались белокурые волосы. Художник настолько привлек Казарина, что он предложил председателю профкома позвать его на последний ужин. Уехать Андрей мог бы и вечером: в Москве переночевать у Орловых, а утром, на метро, в институт. Но к нему уже второй раз должна была придти секретарша главного инженера. Упустить такую возможность он не мог.

После недолгого разговора о производстве Захаров опять упомянул рыбалку. Весь оживился, карие выпуклые глаза заблестели. Андрей сразу подхватил волнующую тему. Пожалел мужиков: где вам здесь, в Подмоскovie, ловить?

— А мы тут не ловим, — сказал художник. — Ездим в Астраханскую область. На Волгу. Каждый отпуск туда.

— Подлещик, густера, судачок, — важно сообщил Валентин Иванович. — Прямо там солим, сушим.

Казарин снисходительно усмехнулся:

— Густера-а... У нас ее рыбой не считают. Мы едем на Дон. За два дня по полмешка. Лещ... Как вон та сковородка. Зобан...

— А это кто такой?

— Хрен его знает. Вроде гибрид леща и красноперки. Тоже по кило, по полтора.

— Вот бы куда попасть, — с завистью произнес художник.

— А что! Приглашаю!

Казарин уже немного опьянел. Его понесло: он любил чувствовать себя значительным.

— Приедете поездом, рядом с вокзалом редакция Областной газеты. Встречу. Отправлю.

“Встречу”, — мысленно пинал он теперь себя. — “Отправлю”.

— А вещи-то ваши где?

— В камере хранения. Удочки, рюкзаки.

— Ладно, мужики. Идите погуляйте часик-полтора. Я пока что-нибудь придумаю.

\* \* \*

Главное в хорошей рыбалке — уловистое место. Такое место на Дону у андреевой компании было. Они там ловили рыбу почти каждые выходные. А Глеб Пустовойтов — самый близкий из казаринских друзей, уезжал туда с женой и двумя девочками даже в отпуск. Но как переправить подмосковную тройцу?

Андрей позвонил Глебу: у того был мотоцикл с коляской. Пустовойтов удивился: “Ты что, Андрей? Меня никто не отпустит”. Он работал ведущим конструктором в проектно-институте. Казарина как-то поразило окончание

рабочего дня здесь. Он сидел в пустом вестибюле, ждал Глеба. Стояла тишина. Казалось, в большом здании вообще нет людей. Ровно в шесть пронзительно зазвенел звонок. Казарин не успел встать, а по лестницам уже грохотали, шаркали, цокали торопливые шаги. Похоже, люди заранее прекратили работу и только ждали звонка. Тогда Казарин в очередной раз вспомнил профессора Вяземского, по учебнику которого готовились все журналисты страны. “Вам никогда не придется снимать табельный номер в проходной. Вы люди свободной профессии”.

Как многие их преподаватели, Вяземский не знал реальной газетной жизни. А в ней было все: и книги прихода-ухода в приемных редакторов, и жесткий, почти военный график сдачи оперативных материалов в номер, а затем самого номера в типографию. Но вместе с тем номерки, действительные, никогда не снимали, и даже самые капризные редакторы, требовавшие без опозданий приходить на работу и строго по времени уходить из редакции, не могли уследить за свободным перемещением сотрудника в пространстве и времени. Что ни говори, а все-таки работа, близкая к творческой.

Переговорив с Пустовойтовым, Андрей задумался. Даже если бы Глеб согласился, одного мотоцикла мало. Нужен второй. Он есть — тяжелый мотоцикл “Урал”, тоже с коляской, еще у одного казаринского компаньона по рыбалке — Владьки Филонова. Но сначала надо найти Владьгу, что непросто — прорабы по стройке не бегают с телефонами. Потом — уговорить. Филонов был капризен, что порой вызывало сильное раздражение товарищей. Но Казарин понимал истоки этого и был, в отличие от других, более снисходителен. Владька с детства заикался и, расценивая это как свою ущербность, норовил, при случае, отомстить людям, оказавшимся у него в зависимости, за этот комплекс неполноценности.

Мотоциклы отпадали. Оставался единственный путь. Отправить подмосковных гостей автобусом.

Казарин снова позвонил Глебу. Договорились: когда объявятся рыбаки, подойдет и Пустовойтов — он работал в нескольких минутах ходьбы от редакции.

Примерно через час снизу позвонил вахтер:

— Андрей Петрович, тут к вам люди. С утра приходили. Сейчас с какими-то мешками, удочками.

— Спускаюсь, Максимыч.

Казарин позвонил Пустовойтову: двигай скорей ко мне. Взял несколько листов чистой бумаги и попрыгал вниз по лестнице.

— В общем так, Валентин Иванович. Сами виноваты. Надо было хоть позвонить. Мы бы подготовились. А то ни я...

В это время в вестибюль вошел высокий, плотный мужчина, одних лет с Казариным, темноволосый, с неожиданно яркими голубыми глазами.

— ...ни вот Глеб Семенович... Знакомьтесь. Мой друг: Глеб Семенович. Тоже рыбак. Что означает: наш человек. Короче, мужики: поедете на автобусе.

Он взглянул на приезжих. Захаров и художник довольно улыбнулись: на чем угодно, лишь бы скорей к воде. Небывалая жара домучивала их. Но горбоносый хмуро сдвинул черные брови: видно, он рассчитывал на более джентльменскую доставку.

— Зато отдаем вам свое лучшее место, — с легкой обидой сказал Андрей. — Глеб, нарисуй им.

Пустовойтов стал объяснять, куда идет автобус, где выйти, сколько пешком до Дона.

— Вот здесь, возле устья пересохшего ручья, выбирайте место.

— Вы на сколько приехали? — спросил Казарин.

— Как всегда: на двадцать дней, — ответил малость повеселевший горбоносый. Путь показался не сложным.

— Главное — с вами встретились, — уже торопясь сказал Валентин Иванович.

— Эт вам повезло, ребята, — неодобрительно покачал головой Казарин. — Могли бы поцеловать пробой и вернуться домой. Ну, пошли, пошли. Схватил связку удочек, заторопил людей.

— Быстрее на автовокзал. Он здесь рядом. Я позвонил. Заказал вам билеты. Сказал: журналисты приехали. А то будете сидеть, пока от жары не сваритесь. Но в пятницу вечером ждите... Проведаем.

\* \* \*

Вернувшись в редакцию, Казарин сразу пошел в отдел писем. По понедельникам почта была внушительная. Летом, правда, поток несколько усыхал, но все равно мешок писем приносили. При населении области в два с половиной миллиона человек и тираже газеты в 130 тысяч экземпляров желающих откликнуться на критическую публикацию и тут же пожаловаться на свою беду всегда хватало.

Письма в отделе сортировали. Основную массу направляли в соответствующие организации и органы власти. С дежурной припиской: “Для принятия мер и ответа автору”. Небольшую часть — самые выгодные письма: по легкости проверки, по курьезности фактов — оставляли заведующему отделом. Петр Ильич Михайлов готовил для субботних номеров сатирические подборки. Подписывал их “Петр Пим”.

Остальная почта, в зависимости от тематики, рассылалась по отделам. Отделу быта, в котором работал Казарин, писем всегда доставалось больше всех. Но он норовил, особенно по понедельникам, порыться в отложенных для Михайлова письмах. На что благодушный, попивающий и робкий Петр Ильич не обижался. “Дерьма, Андрюша, на всех хватит”, — говорил он на извинения Казарина.

Войдя в отдельную комнату Михайлова (две других занимали сотрудники отдела), Андрей поднял руку, чтоб произнести свое обычное приветствие: “Здорово, Пим — валенок!” Но Михайлов опередил его. Продолжая слушать кого-то по телефону, он приложил палец к губам.

— Хорошо... Хорошо... — сказал встревоженно в трубку. — Мы постараемся узнать. Хорошо... У вас какой телефон? Из автомата? Хорошо... До свидания.

— Ктой-то тебя с утра расстраиивает, Петр Ильич?

— Не поверишь, Андрей. Мужчина говорит: в городе холера.

— А чумы у него нет? Какая холера? Она в средних веках осталась.

— Сам не пойму. Соседа в больницу увезли, а там сказали: холера.

В это время в дверь вилыла высокая пышнотелая секретарша редактора Лидия Федоровна.

— А-а, и вы здесь, Андрюша! Всех вызывает Алексей Митрофанович.

Имя-отчество редактора газеты Малько она выговаривала четко, с уставившимся раз и навсегда любовным уважением.

Казаринский начальник, заведующий отделом быта, еще не приехал из отпуска: прохлаждался где-то в Англии. Поэтому на заседания редколлегии обязан был ходить Андрей.

С подтырками, шутками все вызванные столпились в приемной. Но едва пошли в кабинет редактора, как на лица моментально навесили одинаковые, словно униформа, выражения озабоченности. Малько был суровый, до самодурства крутой человек. Не терпел ошибок в материалах, безжалостно наказывал попавшихся “по пьяному делу” и когда поднимал тяжелый взгляд из-под седых бровей на виновного, не каждый отказывался потом от валидола.

Сейчас Малько был явственно не в себе. Он то начинал снимать черный пиджак, то снова поправлял его. Обычно в эту жару Малько ходил по редакции, как все: в рубашке с коротким рукавом. Пиджак — строгий, официальный, надевал, когда ехал в обком партии. Там работали кондиционеры, и первый секретарь требовал, чтоб все были одеты “как положено”. Выйдя из здания обкома в уличное пекло и усевшись в машину, Малько немедленно снимал пиджак и на четвертый этаж, в редакцию, поднимался, неся его в руке. В приемной отдавал Лидии Федоровне.

Теперь Малько прямо в пиджаке дошел до кабинета и никак не мог сообразить, что с ним делать дальше.

— Я был на бюро обкома...

Редактор остановился, глотнул воздух.

— Леонид Сергеич собрал... Экстренно.

Снова замолчал, оглядел всех расширенными глазами.

— В городе холера!

Кто-то нервно хихикнул. Несколько человек в недоумении переглянулись. Но большинство уже не с наигранной, а с настоящей озабоченностью уставились в багровое лицо редактора, над которым дыбился седой хохолок.

— Нам надо определиться, **что** писать и **как**. Слово “холера” употреблять нельзя.

— А “чума” можно? — меланхолично спросил Казарин. Он был уверен: произошла какая-то ошибка — и попробовал разрядить обстановку. Но Малько прожег его гневным взглядом. Редактор благоволил к Андрею, однако зарывать не позволял никому.

— Острая кишечная инфекция! Болезнь немытых рук!

— Но ведь мы так пишем о дизентерии, — подал голос Михайлов.

— И об этой... Так же про нее будем. Сейчас готовятся чрезвычайные меры. Важно не допустить паники. Нет никакой холеры! Есть кишечная инфекция. Андрей Петрович...

Казарин в это время повернулся к заведующему отделом промышленности и транспорта. Тот стал говорить Андрею, что чрезвычайные меры остановят жизнь в городе.

— Казарин! Я к вам обращаюсь! Немедленно свяжитесь с облздравом. Надо статью. О профилактике этой... инфекции. Лучше статью самого Краснова.

— Когда?

— В номер.

\* \* \*

Судя по тому, как секретарша сразу соединила Андрея с Красновым, Казарин понял: заведующий облздравотделом ждал звонка из редакции.

— Готовим, Андрей Петрович. Два варианта набросали. Где-нибудь через час пришьем.

— Нет уж, давайте я сам приеду.

Он хотел подробно расспросить Краснова, что за чудо-юдо появилось в городе. Да и только ли в областном центре? Тиф еще знали по книжкам о Гражданской войне. Но холера откуда могла появиться?

Однако Краснов разрушил все сомнения. Холера. Откуда? Пока не знаем. Есть предположение, что от соседей. Раскопали старое захоронение, девятнадцатого века. Подняли возбудителя. Называется “вибрион”. Выявляем контакты, но сразу всех не охватить. Достаточно одной капли воды на посуде, рукопожатия и вы — носитель холеры.

Казарин инстинктивно развернул ладони, с тревогой глянул на них.

— А как она проявляется?

— Жидкий “стул”, Андрей Петрович. Непрерывающийся жидкий “стул”. Диарея...

— Понос, что ли?

— Назовите так. Происходит полное обезвоживание организма, и человек за короткое время умирает.

— Ё-моё! А я думал, она осталась в истории. Как инквизиция.

— Вот опять пожаловала. Пришла... из истории. Назвать ее мы не можем, но опасность большая. Немедленно вводим карантин. Плохо, что туристов много. Июль, жара, немытые фрукты. Возбудитель — вибрион этот — может быть везде.

— Как же от нее уберечься? — с нарастающим беспокойством спросил Казарин.

— Дезинфекция. Воду — только кипяченую. Представляете, Андрей Петрович, жидкий “стул” через каждые пять-десять минут, — с неким злорадством сказал Краснов. — Потом рвота...



Он искоса посмотрел на лежащую у края стола брошюру. Андрей перехватил его взгляд и понял: заведующий облздравотделом сам только что прочитал о холере в срочно подобранных ему изданиях. Теперь как бы взвешивал: стоит ли заботиться об этом журналисте, раскрывая меры предосторожности. Краснов не любил и одновременно побаивался Казарина. Считал самым ядовитым писакой в газете. По-другому в своем кругу и не называл его. Кажется, только плохое искал этот журналист в областном здравоохранении. После каждой публикации приходилось кого-то наказывать, объясняться в обкоме партии, писать ответы. У Краснова еще не улеглось раздражение от казаринской статьи “Скорая смерть”, напечатанной месяца три назад. Конечно, случай был безобразный. Человек чуть не умер, ожидая приезда “Скорой помощи”. Но как успеть, когда машин не хватает, а вызывают порой по самым пустякам.

Теперь, видя растерянность обычно самоуверенного газетчика, заведующий облздравотделом мстительно наслаждался. Он встал из-за стола; высокий, грузный, каким становится человек, давно бросивший заниматься спортом. Окинул Казарина насмешливым умным взглядом.

— Рвота, Андрей Петрович... Затем начинаются судороги. Конечности холодеют... Руки-ноги холодные — ведь температура тела опускается до 34—32 градусов. Близость комы... то есть финала, выдает лицо... Черты лица заостряются, глаза и щеки западают... Язык сухой... Человек не говорит... сипит.

Андрей напряженно слушал, отчетливо представляя себе такого человека, как вдруг одна мысль враз обрушила всю картину: а зачем Краснов рассказывает эти подробности? Ведь их нельзя опубликовать! Глянул на заведующего и все понял.

— Да-а, плохи ваши дела, — хмуро сказал он.

— Наши? Почему наши?

— А чьи же? С кого спросят? С нас, что ли? С вас, Юрий Васильич. Скажут: не подготовились к чрезвычайной ситуации. А если это диверсия противника? Бактериологическая война?

Он встал.

— Ладно, не будем углубляться. Что там ваши подготовили? Мы ставим в номер.

\* \* \*

Следующий день прошел так буднично, что Казарин снова подумал: не фантазии ли это насчет холеры. Статья Краснова вышла, но на нее, похоже, не обратили внимания. Каждое лето в местных газетах появлялись публикации о желудочно-кишечных заболеваниях. Имелась в виду, конечно, дизентерия. Однако своим именем ее старались не называть. Благодаря прессе утвердилось наименование: болезнь немых рук. Санитарные чиновники рекомендовали не пить сырую воду из открытых источников — ручьев, рек, озер, как будто все только и норовили припасть к ним. Особенно напирала на личную гигиену: мыть руки с мылом, овощи и фрукты обмывать проточной водой.

Примерно то же самое советовал сейчас и заведующий облздравотделом. Но внимательный читатель мог заметить и нечто более настораживающее. На этот раз рекомендовались особо усиленные меры дезинфекции: руки и посуду мыть с хлоркой, воду использовать только кипяченую и сразу после кипячения, не давая ей застаиваться.

Андрей позвонил всем родственникам. Пересказал рекомендации и предупредил: это не дизентерия, будьте очень аккуратны, болезнь серьезная. Называть “холера” не стал. Он еще сомневался в точности определения. “Эскулапы хреновы, — думал с некоторым раздражением. — Сто лет не было холеры... не знают, наверно, как определить...”

Казарин уже собирался позвонить Шведову — спросить, не сорвалась ли намеченная встреча? Юрий был женат, но при малейшей возможности со-

скальзывал “влево”. Конечно, до Казарина ему было далековато — тот из любовниц, переходящих в платонические подруги и снова возвращающихся по первому зову, мог сколотить солидный отряд. Но у Шведова постоянно объявлялась “свеженькая”, а поскольку лучше казаринских возможностей трудно было найти — пустая двухкомнатная квартира в центре города, то для Андрея всегда подбиралась подруга. Бывало, в ходе винно-разговорной подготовки “свеженькая” выбирала Казарина, однако эти мелочи не мешали двум донжуанам пера вести волнительную жизнь.

Едва Казарин протянул руку к телефону, как тот вдруг зазвонил.

— Редакция?

— Ну да, а што ж еще?

— Вы почему молчите?

— В каком смысле?

— Тут у нас холера! А вы молчите! Совсем совести нет?

Андрей завидовал выдержке Михайлова. Тот, кажется, часами умел слушать всякий бред и не выходить из себя. Глуховатым прокуренным голосом время от времени что-то говорил звонившему, снова слушал и в конце концов человек на другом конце провода успокаивался, соглашался с ним, обещал обратиться туда, куда советовал Петр Ильич.

Но если для Михайлова выдержка стала частью характера, то для Казарина — частью его игры. Расследуя запутанные истории, он принимал разные обличья. То прикидывался простоватым мужичком, то надевал маску строгого начальника, то становился вроде как своим в доску парнем для человека, о котором готовил критический материал.

Но все это были заранее продуманные приемы поведения в разных ситуациях. В обычной обстановке он порой бывал вспыльчивым и несдержанным, что не раз приводило к жалобам на него.

— Почему ж это у нас совести нет? — тихо и зловеще спросил Казарин.

— Люди мрут. А вы молчите. В овраги трупы сваливают.

— И много навалили?

— Вы зачем там сидите? Ничего не знаете. Холера всех подряд косит!

Андрей открыл рот, чтобы рявкнуть на мужика, но в трубке раздались короткие гудки. “Надо ж, пацан! — гневно подумал Казарин. — В овраги сваливают... Вот так поднимают панику”.

Он встал. Решил не звонить, а пойти к Шведову в кабинет. Однако телефон опять зазвонил.

— Отдел быта? — спросил женский голос.

— Да-да, — игриво сказал Казарин. — Он самый. Что-нибудь случилось?

— Не знаю, как сказать. Вы извините... Какие-то разговоры идут. Вы, конечно, извините, но, может, объясните мне... У нас что, правда холера в городе?

— С чего вы взяли?

— Мне сейчас звонили родственники. А им сказали друзья... Это такая страшная вещь.

— Вы успокойтесь. Вас напугала болезнь немых рук.

— Не-е-е. Значит, вы ничего не знаете, — разочарованно сказала женщина, и в трубке снова зазвучали короткие гудки.

“Это чё такое творится? — со злым недоумением подумал Казарин. — Завтра паника разнесется по всему городу”.

Но она, видимо, не хотела ждать завтра. От кабинета отдела быта до дверей промотдела, где сидел Шведов, было несколько комнат. Двери всех были закрыты — люди ушли из редакции. Однако за каждой дверью, не переставая, звонили телефоны.

— Андрюха, меня достали знакомые, — обескураженно сказал Шведов. — Спрашивают про холеру. Телефон Баландина я даже не беру, — показал он на звенящий аппарат заведующего отделом. — Что говорить — не знаю.

— Говори, что велено. Болезнь немых рук.

Казарин выдернул вилку баландинского телефона, упал в кресло.

— Как “свежак”?

— Не звонила еще.

— Давай, старик, перенесем. Отложим на другой раз.

— Ты чево? Она уже подругу пригостила. Я Галке “лапши” навешал, сказал: в связи с холерой создаются оперативные группы, меня туда включили. Очень не хотел, но — обстановка...

— Нет, Юр, отложим. Придет человек... Не хочу при ней. Ничего серьезного... Так себе. Просто я ей благодарен. За маму... Много сделала.

Не обращая внимания на растерянное и злое лицо товарища, Андрей вернулся к себе в кабинет. Набрал номер поликлиники, где работала Шурочка.

\* \* \*

Этой женщине Андрей был благодарен за появление в самые трудные месяцы трехлетней давности. Тогда он в отчаянии, бросив все в Смоленске, примчался в родной город.

Перед тем работал в тамашней молодежной газете. Писал про молодых доярков и трактористов, ткачих и токарей. Регулярно бывал на собраниях комсомольского актива. Узнал молодых “подручных партии” от краев до глубин. Едва ли не каждый “актив” кончался всеохватной пьянкой. Пили почти все: секретари, заведующие отделами и секторами, прожженные комсомольские старухи и только пришедшая из школ и техникумов молодая поросль. С середины разгула начинался “уход на беседу” — в дальние и ближние кабинеты. Вернувшиеся оттуда красные, с распухшими губами “комсомольские богини” некоторое время сидели рядом с недавним “беседчиком”, потом он зигзагами шел куда-нибудь к другому концу стола, она — двигалась коленями к другим коленям; готовые к новой “беседе”, уже не слишком скрываясь, жали друг другу бедра, влипали ладонями в спины; глаза парней от нетерпенья вылезали из орбит; созревшие торопливо вставали и уходили искать освободившийся кабинет.

Молодые организмы трезвели быстро. Уже с утра, лихорадочно блестя глазами и припадая то и дело к графинам, активисты вытягивали по телефону сводки об успехах, крепнущими басками клеймили секретарей слабых “первичек” и даже порывались на журналистов “молодежки”.

Но стоило раздаться партийному звонку, как голоса “подручных” неузнаваемо менялись. Становились бархатно-умильными, заискивающими.

Наблюдая в очередной раз такую метаморфозу, Казарин брякнул: “Интересный вы народ. Вверх — с разинутым ртом, вниз — с разинутой пастью”.

Вожаки оскорбились. Дошло до секретаря обкома. Редактору сказали: “Подбираешь не те кадры”.

К Андрею начали придираться, что в любом творчестве сделать — пара пустяков. Материалы перестали публиковать. Товарищи поддерживали — вокруг него собралась остроумная, циничная и веселая компания. Казарин играл на гитаре, сочинял песни, был организатором пирушек и заводилой на них. Терять такого парня никому не хотелось. Особенно молодым женщинам. И дело, скорее всего, спустили бы “на тормозах” (хотя казаринская оплеуха стала быстро известна в молодежной среде). Компания рассчитывала на Ольгу Недальковскую — жену секретаря обкома комсомола и любовницу казаринского приятеля Антона Орлова.

Но тут вмешалась судьба. Позвонил двоюродный брат Андрея Валерка и сказал, что его мать смертельно больна.

Андрей поспешно собрал вещи — жил он на квартире у стареющей адвокатки, влюбленной в него и совершенно безразличной ему; каждый из компании расписался на тыльной стороне гитары; Казарину помогли загрузить в вагон чемодан с книгами, и он, сильно встревоженный, двинул в низовья Волги.

У матери оказался рак. Андрей никогда не предполагал, что будет так щемяще тяжело увидеть край материнской жизни. Раньше он считал, что мать не понимает его, и от этого отношения их были прохладными.

Теперь был убежден, что это он не понимал матери, не ценил ее забот, проявляющихся пусть не в сопливом облизывании, а в скупой улыбке, но забот изо всех ее возможных сил. Получая студентом денежный перевод, который на фоне переводов для других ребят казался грошовой подачкой, он и не представлял, что это половина ее зарплаты — гардеробщицы в кафе.

Мать переживала из-за его развода с Любой, страдала от скитаний сына по разным городам; временами письма, не найдя адресата, возвращались назад.

Теперь она была довольна. Имела право гордиться: сын — журналист. Ни у кого во всей округе, как говорили ей соседки, не было такой “должностности”. Она смотрела на него, не скрывая радости. Все плохое — осталось позади. И не знала, что позади оставалась вся ее 54-летняя жизнь.

Смириться с этим Андрей не мог. Он проникал в кабинеты разных врачей и медицинских функционеров. Мать взяли на улучшенное обслуживание. Но процесс развивался быстро и неумолимо.

С матерью надо было находиться постоянно. Но Андрей этого делать не мог. В редакцию его приняли неохотно — штат был заполнен под завязку и люди крепко держались за свои места. Поскольку было лето, направили в отдел сельского хозяйства. На ставку стажера в 50 рублей. Меньше просто не существовало. А задания давали одно за другим. Каждое — с командировкой по районам области.

И тут появилась Шурочка. Пришла, как патронажная сестра от поликлиники. Помыла мать, убрала за ней, навела порядок в квартире.

Жила она в общежитии далеко от поликлиники, и ночевать с казаринской матерью, в другой комнате квартиры, ей было удобно: работа оказалась близко.

Ночами, страдая от боли и мужественно скрывая ее, мать рассказывала Шурочке о сыне. Медсестра говорила о себе. Обе что-то недоговаривали, что-то приукрашивали, но через несколько дней, когда Андрей вернулся из командировки, медсестра стала для матери близкой, как дочь. “Вот бы тебе такую жену”, — тихо сказала она, когда сын наклонился, чтобы поцеловать в щеку (раньше он такого за собой не замечал: когда прощались, чмокал куда-то в воздух около лица).

— А почему ты говоришь тихо? Ее же нет.

— Силы тают, Андрюша... Такая заботливая. Замужем не была... Не по годам серьезная...

— Сейчас не об этом надо думать, мама. Мы должны подняться... Потом — про жён.

От отчаяния Андрей не знал, за что схватиться. Будучи человеком честолобивым, он хотел во всем быть если не первым, то среди первых. Любил красиво одеться (когда позволяли деньги). Держался подтянутым, уверенным в себе. А навалившиеся заботы и страдания выбивали из сил. Эти бы силы отдать матери! Он готов был голыми руками разобрать дом по кирпичику, если бы это спасло ее. Но надо было и отвоевывать место в газете. Мать должна гордиться сыном — известным журналистом.

Однако в редакции скептически читали первые его репортажи и корреспонденции. В каждом таком коллективе устанавливаются свои стандарты и подходы. Люди вроде пишут по-разному, но, читая внимательно газету, можно увидеть общий стиль. Его определяют вкусы главного редактора, а отсюда — заместителей, ответственного секретаря, заведующих отделами. Зачастую даже очень способный журналист, попадая в устоявшийся бульон стиля, языка, отношений, оценок, вдруг оказывается “не ко двору”.

Первые материалы Казарина заведующий отделом сельского хозяйства Ванчуков даже в руки брал брезгливо-настороженно. Толстенький, с пухлыми розовыми щечками, в небольших очках без оправы, которые едва держались на маленьком, как птичий клюв, носике, он читал казаринские корреспонденции с видом страдальца. Сам писал редко и только казенно-ту-склые передовицы. Вернее, не писал, а лепил с помощью ножниц и клея. Вырезал куски из центральной партийной газеты, из партийных журналов, из речей Брежнева; клеил вырезанное на лист чистой бумаги, затем соеди-

нял чужие слова несколькими своими — бесцветными. В газетную работу он пришел случайно. Кончил сельскохозяйственный техникум. Через некоторое время взяли в райком комсомола — в отдел сельской молодежи. Оттуда — в райком партии. Когда редактор районной газеты скандально разошелся с женой и его потребовалось убрать, обратили внимание на правильно выступающего Ванчукова. Из “районки” по протекции перевели в областную, где спустя несколько лет стал заведующим отделом и секретарем парт-организации.

Самый первый материал, исчерканный и переправленный Ванчуковым, Андрей отдал в машбюро, пылая от стыда. Раньше, бывало, его тоже правили, но чтобы так!..

Затем стал прорываться характер. Андрей начал требовать объяснений: почему это его слово заменяется другим, чем написанное им предложение хуже вписанного завотделом. Маленькие бледно-голубые глазки Ванчукова проваливались в глубь толстого багрового лица. Завотделом отодвигал большой живот от стола и с видом: поглядите, какой наглец! — обводил блеском узеньких очков давних своих подчиненных — молчаливого Виктора Максютова и меланхоличного, огромного Володю Лосева. Глядя на последнего, Казарин думал, что фамилии иногда попадают в точку. Володя и за столом горбился, как присевший на задние ноги лось: большая голова с дыбом трудно причесываемых волос, бугристые плечи и постоянное безразличие на лице и во взгляде.

Сотрудники выдавали какие-то неопределенные звуки, которые Ванчук принимал за согласие с ним, и объяснение на этом заканчивалось.

Работать в сельхозотделе становилось все трудней, мать угасала не по дням, а по часам, и самоотверженная помощь Шурочки, которая теперь оставалась ночевать, даже если дома был Андрей, оказалась спасением для Казарина.

Андрей спал в своей комнате: сон был тревожным, неглубоким, то и дело приходилось вставать на стоны матери. Но пока он подходил, Шурочка уже давала больной женщине анальгин, гладила исхудалую руку, поправляла черные, почти без седины, слипшиеся от пота волосы и что-то ласковое говорила.

Казарин уходил к себе, не сразу засыпал, тер ладонью грудь в области сердца — там почему-то все чаще стало болеть, чего никогда раньше не было.

\* \* \*

Мать умерла на его глазах. Был август. Из дома ее перевезли в больницу. Чтобы меньше страдала, делали наркотические уколы. Андрей сидел в палате, на койке, что стояла напротив материной. За открытым окном жизнерадостно гомонили воробы; когда стихали, было слышно, как шуршит по жестяному отливу подоконника листва клена. Где-то вдали, невидимый, двигался башенный кран, и голоса рабочих доносились невнятно, убаюкивающе. Во всем было умиротворение. Тишина и благодать казались частью неведомой райской жизни. Однако рядом заканчивалась реальная жизнь реального дорогого человека, и Андрей не отводил воспаленного взгляда от материного лица, ее закрытых глаз. Врач сказала: отключились все органы. Работало только сердце. Оно оказалось самым сильным, и каждым ударом словно говорило сыну: я здесь... я с тобой...

На похоронах Андрей говорил какие-то слова: скорее, не слова, а облеченные в звуки страдания. Ему давали нюхать нашатырь.

Потом он поставил памятник. Все, от начала до конца, сделал своими руками. Глубоко забетонировал арматуру, забрал у тетки — материной сестры — мраморную плиту (когда-то, в хулиганские годы ранней молодости, упер столешницу из бесхозного уличного кафе); на ней укрепил переведенную на эмаль фотографию матери — еще молодой, красивой; намертво закрепил плиту медными болтами в бетон. Внизу вырубил всего несколько слов. Они сказали обо всех отношениях двух самых родных людей: “Спасибо. И прости. Сын”.

После похорон Андрей какое-то время не мог прийти в себя. Шурочка готовила ужины, спать ложилась в материнной комнате. Андрей говорил с ней, расспрашивал о прежней жизни, но, углубленный в свои страдания, слушал без интереса. Нескольким раз, вскинув взгляд на уходившую в кухню женщину, машинально отмечал красивые пропорции тела. Роста ниже среднего, все гармонично: узкие плечи, явно видимая талия, округлый, хорошо выделяющийся зад.

Однако ни разу ничто и нигде не шевельнулось. Так обычно глядят на красивую сестру и не видят в ней женщины.

Однажды в редакции устроили, по определению Михайлова, “тихий выпивон”. Громкие застолья были запрещены под страхом увольнения. Мало-ко за один случай выгнал сразу несколько человек. Но “тихие выпивоны” он отследить не мог. Запирались в кабинетах двое-трое, обычно из одного отдела. Стучали друг о друга донными гранями стаканов — получался глухой бульжанный звук (отсюда пошло выражение: “по бульжничку”). Сначала шепотом, потом громче начиналось “мытьё костей”, разумеется, чужих. Наконец, кто-нибудь спохватывался и так же тихо расходились, при этом выпучивая на вахтера глаза, чтоб показать трезвость.

Казарин уже перешел из сельхозотдела в отдел промышленности, строительства и транспорта. Там сразу стал своим, и через некоторое время после похорон матери его пригласили на “тихий выпивон”.

Обычно Андрея невозможно было спойть. Его подругам нравилось: половина компании уже не мычит, не телится, кто-то повалился на диван или кровать, а Казарин сидит за столом, перебирает струны и, чем дальше, тем душевней поет.

На этот раз, видимо, сказались нервные потрясения последнего времени. Он немного выпил и почувствовал: повело. Не дожидаясь неприятностей, протиснулся и пошел домой.

Там была Шурочка. Она недавно пришла из поликлиники, начала готовить ужин. Когда нагнулась, чтобы достать из шкафа посуду, Андрея как будто обожгло дыханием мартеновской печи. Халатик поднялся так высоко, что обнажилось все, обычно недоступное взгляду. Казарин в два шага оказался рядом, она выпрямилась, повернулась лицом к нему, и тугие груди вдавились ему в область солнечного сплетения.

Шурочка стала жить у него. Но реализовать материно желание чем дальше, тем меньше становилось шансов. Казалось бы, что еще нужно истеганному кнутами жизни жеребцу для спокойной стойловой жизни? Внешне Шурочка была привлекательна. Небольшое круглое личико, всегда накрученные короткие волосы рыжеватого цвета, светло-зеленые глаза, прямой носик, стройная фигурка.

Но то одно, то другое в женщине останавливало Андрея. Несколько лет она была вольнонаемной в Группе советских войск в Германии. Тоже — медсестрой. А опытный Казарин, сам не раз выбиравший из нескольких женщин в компании именно медичку — за доступность, ни капли не сомневался в том, что через это тело прошло изрядное количество мужчин.

О тщательно скрываемой опытности говорило и ее поведение в постели. Бешенеющий в движениях Андрей видел, как все сильнее расширялись зеленые Шурочкины глаза, как выступала из них влажная поволока, вслед за чем через доли секунды все должно было полететь в обрыв. Однако тут же что-то неуловимое происходило с телом. Оно словно металлизировалось, застывало, и опускающиеся на глаза веки стирали влагу кипящей страсти. Заканчивалось все бесстрастно и как бы с ее стороны неумело. Что, видимо, должно было показать целомудренность. Но именно эта фальшивинка вызывала у Андрея отторжение.

Командировки, разнородная пульсация редакционной жизни, компании, которые все чаще стали собираться в Андреевой квартире, постепенно начали оттеснять Шурочку на периферию казаринских интересов. Она хотела быть с Андреем, но бороться за это не решалась, боясь оказаться отторгнутой резко и навсегда. И не знала, что Андрей, скорее всего, не сделал бы так. Он почти никогда не рвал отношения с женщинами грубо и одномоментно.

но. Жадный до всякой новизны, он всего лишь активно плыл в бурном потоке по имени Жизнь. Если женщина не успевала оставаться рядом, винить надо было себя и реку. Она уносила Андрея к другим островам, порогам, заводям.

Постепенно Шурочка привыкла к тому, что Андрей цепляет женщин, как собака репья. Порой терзалась, но уйти не могла. Казарин видел: она любит его. Был уверен: теперь никого другого не подпустит. Однако у него главным чувством оставалась только благодарность. А этого, понимал Казарин, мало, чтобы сделать решающий шаг. “Должна же когда-то случиться большая любовь! — думал он. — Как у других. Без любви нельзя жениться”. Когда доходил в мыслях до этого понимания, ежился от неловкости. Становилось стыдно за свое малодушие. Надо бы, думал, оторвать Шурочку, пусть уйдет искать свое счастье. Но не только оторвать — отпустить ее не мог. Она и мать — были нечто неразрывное. Наткнувшись в уличной толпе, в каком-нибудь учреждении на лицо, взгляд, улыбку, вызывающие в памяти материны черты, тут же вспоминал Шурочку. Теплел настроением, немедленно звонил ей на работу или в общежитие. Она появлялась так скоро, будто ждала у подъезда. Снова проваливались в омуток страсти: Андрей открито, несдержанно, Шурочка, как всегда, “с тормозами”.

Утром расходились, и порой на недели. Она звонила чаще: как живешь? не постирать ли рубашки? могу придти убрать квартиру. Он — редко. В основном с какой-нибудь просьбой. То Шведову втихаря провериться у венеролога. То себе и Глебу Пустовойтову сделать больничные листы перед открытием охоты.

На этот раз он набрал номер, чтобы спросить о холере. Услышав теплый, с улыбкой, голос, смутился. “Забыл, когда звонил. Свинья неблагодарная”.

— Как ты в этой жаре, Шурёнок? Я лично дышу вроде судака на скорородке.

— Значит, собрался на рыбалку?

— Если объяснишь, что происходит. Скажи, в городе действительно холера?

— Да, Андрюша. Нас перевели на особое положение.

— Нас — это кого?

— Медиков. Все очень серьезно. В южных районах уже несколько летальных случаев. Сегодня в Центральном районе пять человек под подозрением.

— Значит, это на самом деле? Болезнь ...прости, чуть не сказал матом... немых рук...

— Я тебе приготовила... Все для профилактики есть.

— Но разве жизнь такого города можно остановить? Поезда приходят, уходят. Самолеты...

— Я думаю, карантин все перекроют. Тебе для ребят таблетки, хлорка нужны?

— Конечно, конечно! — закричал встревоженный Казарин. — Во сколько ты придешь? Я прямо сейчас двину домой.

\* \* \*

Казарин зря не учил на военных сборах в Москве методы деморализации войск и населения противника. Тогда бы узнал, что самое эффективное средство — паника.

Прошло двое суток с того момента, как Малько объявил о холере, а зловещая, тысячеглавая, многолапая гидра по имени Паника, разрастаясь на глазах, поползла по городу и области...

Не имея каких-либо точных сведений о том, где проявилась холера, как она протекает, что делают врачи, люди открыли уши слухам. А как работает “сарафанное радио”, служба ОБС (Одна Баба Сказала), известно многим. Если в начале магазинной очереди кто-то говорил о ребенке, простудившем горло мороженым, то к середине людской ленты детей становилось трое-чет-

веро, задыхались они от неизвестной болезни (врачи-то какие? сами не знают!), а уже к концу очереди непременно объявляющаяся в каждом таком скоплении людей энергичная всезнающая тетка без колебаний заявляла, что это — холера, что детей заразили, и надо немедленно найти тех, кто был с ними в контакте.

Не подготовленные к такого рода напастям люди верили всему. Истории разносились одна страшней другой. Говорили, что каждого, кто хотя бы коснулся холерного, немедленно забирают санитары. Сами они в противогазах, в прорезиненных костюмах и обязательно с крючьями. “А крючья, — спрашивали, — зачем?” “Дурак, чтобы холерика не касаться”.

Говорили, что на кладбищах холерных хоронить запретили. Втайне от родственников их свозят в специально открытые рвы, стаскивают туда крючьями, а сверху засыпают хлоркой.

Хлорная известь за какие-то сутки стала самым востребованным товаром. Ручки всех дверей, начиная от обкомовских и кончая квартирными, были обернуты влажными марлями, тряпками, бинтами, смоченными в хлорке. Самые продвинутые, и Казарин в том числе, перед входом поставили корытца, где в хлорке лежал кусок мешковины.

Говорили, что без мытья рук хлоркой нельзя даже здороваться. Кто пренебрегал этим, оказывался в оврагах или во рвах, куда стаскивали холериков. В подтверждение рассказывали самые невероятные истории. Одну из них Казарин услышал в течение часа сразу от трех человек. Во дворе пятиэтажного дома мужики играли в “козла”. Один поднял руку, хотел крикнуть: “Рыба!”, как вмиг побелел и рухнул вместе с костяшкой. Всех, кто играл с ним, а также болельщиков и двух пьяных у дальнего забора, схватили подлетевшие санитары. На вопрос: где они? — рассказчики уверенно отвечали: в овраге. При этом адреса и овраги в каждом из трех случаев назывались разные.

Услышав эту историю в третий раз, Казарин нервно посмеялся, но вечером ручку своей двери обернул более толстым слоем марли. Другие двери открывал пинком.

Панику усиливали и жесткие меры карантина. Из больниц выписали всех, кто мог долечиться дома. В пустующие школы из резервных складов завезли сотни кроватей. Никто не знал, сколько потребуется — действовали по принципу: лучше перебдеть, чем недобдеть. Остановили отъезд поездов и вылет самолетов. Выпускали только архипроверенных и, главным образом, руководителей области.

Еще больше паники вызывала ситуация с прибывающими поездами. В миллионный южный город, к тому же — туристическую Мекку, в разгар летних каникул и отпусков, как всегда, двинулась масса народу. Их ждали родственники, знакомые, туристические организации. И вдруг поезда начали останавливать на дальних степных разъездах. Жара, голая степь, пятюк домиков и запертые в вагонах люди.

Правда, хаос убрали быстро. Власти стремительно наладили порядок. К поездам доставили воду, разнообразную еду, привезли медиков, включая машины “скорой помощи”. Тут же, в степи, срочно построили туалеты, и многие, особенно молодежь, с удовольствием воспользовались возможностью оказаться в самой настоящей степной природе с нежным утренним рассветом, с переливчатыми красками вечеряющего неба.

Но дальше 100 метров от поездов не отпускали.

Оцеплением охватили все крупные города области. Въезд-выезд полностью перекрыли.

В четверг в кабинет к Андрею зашел его нештатный автор — студент пединститута Мишка Швейцер. Казарин в изумлении уставился на него. Всегда франтоватый Мишка был в солдатской полевой форме. На ремне — с одной стороны фляга, с другой — тесак и подсумок с патронами. Пилотку Швейцер грациозно усадил на рыжей курчавой голове, что Андрею понравилась: он не любил расхлябанности.

— С кем воевать собрался?

— С холерой.



— Будешь отстреливать вибрионы? Иль сразу дристунов?

— А их попробуй останови. Я уже сутки отстоял в оцеплении. Ты знаешь, Андрей Петрович, всю область по периметру оцепили. Я на самой границе с Казахстаном. Шоферы там наши. Узнали: холера напала на Родину. В машины — и к домам... Семьи спасать. Мы им машем: нельзя! Стоим друг от друга сто метров. Куда там! Прут напрямик... по степи.

— Настоящие герои. Защитники родных. Родина — это от какого слова? Учю тебя, Мишка, а все не в коня корм.

— Ты постоял бы там. Приказ: не пускать. А как непустишь? Один стал стрелять по колесам. Прострелил их. Но шоферюга умчал на ободах.

— И что, ни туда, ни сюда?

— Железный занавес, Андрей Петрович.

— Ну, это правильно — порядок должен быть, — начал разглагольствовать Казарин. — А то разбредутся, разнесут заразу.

И вдруг вскочил, как подпаленный.

— Ё-моё! У меня ведь ребята на Дону!

В заботах холерных часов, в подготовке срочного материала о состоянии городской водоканализационной сети Казарин совсем забыл про “фарфористов”. Он даже с Глебом Пустовойтовым только раз встретился: выжили по бутылке пива на Глебовой кухне. Говорили о холере, негромко — о женщинах; в соседней комнате ходила Глебова жена Алла. Она была убеждена в дурном воздействии Андрея на ее мужа. Но велух это не высказывала — добродушный, покладистый, позволяющий ей время от времени покомандовать собой Глеб однажды так взорвался после очередной язвительной реплики в адрес Андрея, что больше она не пробовала отвадить мужа от Казарина.

Впрочем, Андрей был не настолько ей неприятен, как она хотела это показать. По сравнению с другими товарищами и знакомыми мужа он был самым интересным. Остроумный, нередко бесшабашный, но когда надо — собранный, Казарин волновал и притягивал. Одно отталкивало: легкость, с которой он менял женщин. Это вызывало брезгливость и одновременно пугало. Муж вроде ни на чем не “прокальвался”, но чутьем умной женщины, а оно у нее было развито сильнее, чем у крота, Алла угадывала идущую от Казарина опасность. Она понимала, что статного, привлекательного Глеба, создай только условия, с удовольствием подхватит какая-нибудь женщина, и Казарин охотно поможет ему. Поэтому лишний раз Андрей не настаивал на жену друга и чаще звонил ему на работу, чем заходил домой.

Вспомнив о подмосковных рыбаках, Казарин тут же набрал Глебов телефон.

— Ты ничего не знаешь?

— Нет, — простодушно ответил Пустовойтов. — Неужели еще какую-нибудь заразу открыл?

Глеба трудно было вывести из равновесия. На большом, мясистом лице с прямым носом и полными добрыми губами в первую очередь замечались ярко-голубые искристые глаза и сразу же — небольшой рваный шрам на левой щеке. Через много лет после войны мальчишки разбирали мину. Двое остались в том возрасте. Глеба осколок пометил на всю жизнь.

Теперь Пустовойтов заволновался.

— Ну, чё ты меня интригуешь? Рассказывай...

— Помнишь, что мы людей засунули на Дон?

— А-а-а, — с облегчением протянул Глеб. — Я думал, страсть какая. Чё им будет? Надо радоваться. Живи, как первобытный человек. Никто не помешает.

— Кроме карантина. Ты знаешь, что изолировали не только город. По всей границе области стоит оцепление. Ни туда, ни сюда. Карантин на три недели.

— Что ты предлагаешь?

— Надо их вытаскивать.

— У тебя есть “окно” на границе?

— Придется злоупотребить положением. Сначала достать билеты на Москву. О-ой, представляю, что меня ждет! А потом как-то вывезти.

Андрей замолчал, мысленно перебирая кабинеты, коридоры, лица.

— Ищи Влахана. Будет упираться, скажи: морду набьем. Выезд — на пятницу.

— Эт уже завтра.

— Как? Не может быть!

Казарин вскинул взгляд на календарь. Пятница, действительно, была уже завтра.

\* \* \*

Всю оставшуюся часть дня он не давал остыть телефону. Вот когда пригодилось умение добиваться нужного не мытьем, так катаньем. Начальник отделения дороги приказал ни с кем, ни под каким предлогом не соединять. Для высшего руководства была “вертушка”. Для остальных — он перестал существовать.

Андрея некоторое время “пофутболили”, пытаясь послать по кругу. Но надо было знать Казарина. Друзья не зря говорили о нем: “Андрей, если захочет, слона за хобот на пятый этаж приведет”. Где лестью, где металлом в голосе он одолел обороняющихся и достиг ушей начальника отделения дороги. Тот его, конечно, знал и приготовился с мучительной опаской отказать, когда Казарин попросит билет.

Но Андрей не стал ничего просить. Наоборот, он предложил. И предложение сделал заманчивое. Встретиться, поговорить, чтобы потом написать о том, как действует руководство дороги в чрезвычайной обстановке.

Начальник все равно не мог никуда уходить, а поскольку телефоны приказал отключить, то самое время было побеседовать с известным журналистом.

Отделение дороги находилось от редакции через площадь. Минут сорок Андрей и Главный железнодорожник говорили о неожиданно возникшей опасности, об умелых действиях многотысячного коллектива, о том, что это — хорошая проверка готовности железной дороги к любым испытаниям. “В отличие от областного здравоохранения”, — вставил Казарин, вспомнив издательский взгляд Краснова. Жаль только, многие не понимают, вел свою линию Андрей, какой ценой спасает этот, седой уже, в генеральском мундире человек страну от возможной опасной эпидемии. “Хорошо, хоть семья да умные люди оценят”, — на всякий случай польстил Казарин. Начальник нахмурился, но оспаривать не стал.

— После всего этого надо месяц отпуска — и на Дон! — как бы случайно бросил Андрей. В действительности, сказал не просто так. За те минуты, пока стоял возле секретарши, успел выяснить пристрастия начальника.

— О-о, Дон! О чем вы говорите! Я его вижу-то, когда проезжаю по мосту.

Следующие полчаса они не давали толком сказать друг другу. Перебивали один другого, хватали за руки, генерал пересел за стол к Андрею и стал рисовать самую уловистую, но запрещенную (браконьерская!) снасть — “кольцовку”.

Потом Казарин рассказал, что такой же, как они с генералом, страстью болеют и его коллеги — московские журналисты. Отправил их на Дон, а в понедельник двоих вызывают на работу. “Сами понимаете, мы, журналисты — люди подневольные. Куда самое большое начальство (поднял глаза вверх) пошлет, все бросай и мчись”.

Из кабинета начальника отделения дороги он вышел с тремя билетами в купейный вагон.

С начальником областной Госавтоинспекции полковником Цветковым договориться было легче. Андрей несколько раз писал за него статьи, ездил в рейды, подерживал гаишников репортажами. С подачи Цветкова Андрея наградили значком “Отличник милиции”. Он называл его Орден внутренних дел. Даже звонил Казарин Цветкову не всегда через секретаршу — знал прямой телефон.

— Борис Иванович? Ваш летописец Пимен. Да-да, Казарин. Зайти или обесудим по телефону?

Он рассказал о ситуации. Особо выделил, что руководство железной дороги отнеслось с пониманием к трудностям застрявших на Дону журналистов.

Цветков пообещал выписать пропуска на два мотоцикла с пассажирами и отдельно для Казарина спецпропуск с красной полосой. Она означала: данное лицо проверке не подлежит. Сказал также, что будет предупрежден пост на выезде из города.

\* \* \*

Чем ближе подъезжал Казарин с друзьями к посту ГАИ у границы города, тем больше транспорта стояло на обочинах. Возле самого поста вся дорога была забита грузовиками, легковыми машинами, мотоциклами. Люди показывали милиционерам какие-то бумаги, совали удостоверения, кричали, упрасивали. Одуревшие от жары и бра гаишники вытирали пот с красных лиц и уже никому ничего не отвечали. Молча ходили вдоль перегородившего дорогу барьера с автоматами, опущенными дулом книзу.

Через несколько метров дорогу перекрывал такой же барьер, но с другой стороны. Там машин было совсем мало. Видимо, основную часть отрезали еще на дальних подступах.

Между барьерами ходил капитан.

Не доезжая до самого столпотворения, Андрей крикнул Глебу в ухо, чтобы тот остановился. Казарин и Пустовойтов любили ездить вместе. Владька Филонов сразу всгал сзади.

Андрей бросил шлем в коляску, пошел пробиваться к капитану. Но дорогу ему преградил лейтенант с автоматом. “Куда прешь?” В другой раз Казарин выдраил бы этого лейтенанта. “Фамилия! Звание — четко! А вот вам мое удостоверение. В руки не брать! Мне что, звонить полковнику Цветкову?”

На этот раз было не до воспитания.

— От полковника Цветкова к капитану!

Капитан услышал фамилию начальника, подошел. Казарин показал пропуска на мотоциклы, подписанные начальником областной ГАИ, свой — с красной полосой. Подумал и достал редакционное удостоверение, в которое заранее вложил удостоверение “Отличника милиции”. Последнее особенно произвело впечатление на капитана.

— Наш, што ль?

— Ваш, ваш. Спецздание. Вывозим группу московских журналистов.

Капитан с подручными проделали коридор через людскую толпу. Глеб с Филоновым, не обращая внимания на крики раздраженных людей, быстро проехали раздвинутые барьеры. Казарин прыгнул на заднее сиденье пустовойтовского мотоцикла, и “спецподразделение”, как его называл орущей толпе капитан, помчалось по пустынной дороге.

Это была необычная езда. Шоссе, по которому всегда в обе стороны двигалось много транспорта, было абсолютно пустынным. Изредка появлялся какой-нибудь грузовик на перпендикулярной сельской дороге, пересекал шоссе и, пыля, пропал у горизонта. Жизнь шла, но за пределами большой транспортной артерии.

Часам к семи вечера мотоциклы дотарахтели до знакомого мужикам поворотка к Дону. Дальше надо было двигаться по берегу, вдоль реки. Искать стан. Обычно станы попадались часто. Люди приезжали рыбачить на выходные, немало людей проводили на Дону отпуска.

Сейчас проехали по берегу с километр, но ни одного стана не встретили. Остановились.

— М-м-может, они в-в другую сторону у-ушли? А м-мы п-прем не туда.

— Глеб им рисовал идти сюда, — сказал Казарин. — Тихо!

Неподалеку что-то звякнуло, потом — голос:

— Куда, стерва, прыгаешь? Опять в песке...

— Э-эй! — крикнул Пустовойтов.

— А-а-а... — откликнулось метрах в пятидесяти.

Раздвигая кусты, городские быстро пошли на голос. Место для стана “фарфористы” выбрали удачное. Большую поляну почти со всех сторон обступали высокие деревья: клены, тополя, вязы. Кривые стволы простирали “руки” так, что сверху поляна была закрыта ветками от солнца. В разрывы между деревьями к поляне подходили где плотные, где редкие кусты тальника.

Передняя часть поляны свободно открывалась Дону. Вода была недалеко — метрах в десяти. Мелкий, почти белый песок полого уходил к воде сразу от поляны.

Противоположный берег был крутым, обрывистым и, к удивлению впервые попадавших сюда, не бурым, не рыжим, не зеленым, какими бывают каменистые, глинистые или заросшие кустарником берега, а белым. Правда, не сплошь белым, а местами с зеленью, но белый цвет был главным. Здешние жители, а от них — рыбаки называли крутые берега меловыми горами, и кручи оправдывали свое название. Кое-где они были выпуклыми, как животы великанов, потом “животы” уменьшались, “худели”, и над рекой вставала ровная, высотой в десятки метров стена из мела.

А этот берег был настолько пологим, что в двух метрах от уреза воды можно было разглядеть дно. Если глаз не захватывал плывущей вдали ветки или на воду возле берега не падал листок, то сколько бы человек ни вглядывался, он не мог заметить течения. Вода как будто не текла, а стояла. На вид тяжелая, словно расплавленная прозрачная смола, она еле заметной волной ластилась к береговому песку.

На поляне, заняв небольшую приподнятость, рыбаки умело поставили палатку. Там и тут между деревьями были натянуты шнуры с нанизанной на них рыбой. Чтобы спасти добычу от мух, снизки обернули марлей.

— Хорошо устроились! — крикнул Казарин поднимавшемуся от костра мужику. Это был горбоносый — Сергей Михайлович.

Тот радостно заулыбался, забросил тыльной стороной руки черную шевелюру, спадавшую на лоб. В руке у него был нож: Сергей Михайлович готовил уху в большом конусообразном котелке.

— Рыбы тут — мама родная! Привезем на весь завод.

— А ты ничего не знаешь? — показал Андрей на свисающий с дерева радиоприемник. Оттуда урчала музыка.

— Не-а. Цены, што ль, на водку подняли?

— В городе холера.

Горбоносый разявил рот, выронил нож и полным идиотом устоялся на троицу.

— Люди начали умирать, — неохотно проговорил Пустовойтов. — Карантин. Никого не выпускают.

— А-а-а! — заорал горбоносый и бросился к ближайшему колу, за который была привязана растяжка палатки.

— А-а-а! — продолжал орать он, раскачивая кол. Тот вылез, палатка слегка деформировалась. Бросив выдернутый кол, Сергей Михайлович подбежал к другому.

— Холера! Это смерть! Это — черная смерть! — кричал он, расшатывая очередной кол.

— Да ты чё, с ума сошел? — подбежал к нему Пустовойтов. Оттолкнул горбоносого. Тот упал, рукой ударился о топорик, схватил его.

— Холера... Мы все умрем. Надо к врачам. У меня жена — медсестра.

— Остановись ты, полоумный! — строго осадил Пустовойтов. — Куда сейчас бежать? Переночуем... Завтра поедем. А где спать будем, если палатку порушишь? — улыбнулся он, и эта улыбка большого спокойного человека, искрящиеся голубые глаза сразу отрезвили горбоносого.

— Где остальные? — спросил Казарин, тоже сдвинутый со спокойствия буйной реакцией горбоносого.

— На хутор пошли. Хотели встречу сделать. Ухи вон — мама родная. Вина принесут...

— В-вино ник-какая холера н-не возьмет! — довольно осклабился Филонов. — Он стал в последние годы перебирать с выпивкой, и друзьям это не нравилось.

Подогнали мотоциклы. Быстро разобрали снасти. Каждый присмотрел место. Закинули донки. Лучше всего было ловить с резиновых лодок. Опускаешь на дно свинцовое кольцо с привязанной к нему кормушкой, через кольцо пропускается леска с крючками. Течение разносит прикормку, и в этом шлейфе болтаются крючки с наживкой. Ловили огромных лещей, крупных зобанов. Глеб Пустовойтов с лодки блеснил. Судаки, щуки, сомы всегда были общей добычей.

На этот раз лодки даже не планировали брать. Важно было разместить груз “фарфористов”.

Вдруг вдалеке послышались голоса.

— Наши, — уныло сказал горбоносый. Он еще не успокоился и безразлично глядел на уху.

Вначале голоса доносились одним гулом. Потом стала различаться мелодия.

— Карузы — Шаляпины идут, — хмыкнул Андрей.

— Н-настоящие люди у-уже отдыхают, — заволновался Филонов, — а м-мы — ни в одном г-глазу.

\* \* \*

Они знали друг друга с семи лет. До окончания седьмого класса учились вместе. Но росли в разных условиях. Отец Глеба руководил крупным строительным управлением — по тем времена большой начальник. Рослый, громогласный и добродушный, он имел три страсти. Работу. Женщин. Выпивку. Жена его, Тамара, — маленькая, красивая, приятно-пышная женщина была бухгалтером. Мужа любила, бешено ревновала, то и дело старалась встать поперек пьяных застолий. Знала: там, где водка, там будут бабы. Умер дядя Семен молодым: в 46 лет. От инфаркта.

Владька Филонов жил с матерью — высокой, прямой, как ствол, всегда мрачноватой женщиной. С мужем — трубачом эстрадного оркестра, она разошлась. Тот ушел к певице оркестра. Однако Владьку не только не забыл, а, наоборот, постоянно таскал к себе. Заставил учиться в музыкальной школе — там они тоже оказались с Глебом в одном классе: пиликали на скрипках. Покупал хорошую одежду, порой даже какую-то сказочную. Андрей навсегда запомнил Владьку на одном из классных концертов: бархатная курточка, короткие, стянутые под коленями штаны, белый бант под подбородком. И скрипка, на которую склонил голову красивый мальчик.

Владька с детства заикался. Этот недостаток сильно нервировал его, выставлял в глазах товарищей неким уродом. С близкими капризничал, требовал особого отношения, становился лодким в настроениях. Срывов и нервности добавляли конфликты матери с отцом. Отец — дядя Саша — человек мягкий, ласковый, старался оградить Владьку от скрипучих, злых выкриков матери, ее перекошенного ненавистью лица. Чувствовал себя виноватым, забирал мальчишку на рыбалку. Заодно прихватывал Глеба и Андрея Казарина.

Когда Владьке исполнилось двадцать лет, отец купил ему мотоцикл “Урал”.

У Казарина жизнь была совсем другой. Рос без отца, с матерью и бабушкой. В первых классах учился очень хорошо. Мать, задыхаясь от безденежья, покупала по просьбам учителей подарки Андрею к окончанию очередного класса. Учителя потом вручали подарки вроде как от школы — за хорошую учебу.

Но с шестого класса Андрей пошел вразнос. На улице — карты, товарищи за пределами школы — шпана.

Его еле перетаскивали через седьмой класс. И не по успеваемости — тут по-прежнему все было хорошо. По поведению. Он вдруг все чаще стал оказываться организатором различных безобразий. Один раз подложил петарду под стул учителю физики. Взрыв, хохот, пинком из класса.

В другой раз пригляделся: учительница биологии подойдет к углу стола и трётся, трётся об угол черной юбкой.

Он намазал угол стола мелом. Когда учительница отошла, девочки приснули, ребята загоготали.

В восьмой класс он не пошел. Подал документы в механический техникум. Но и там долго не задержался. Стал работать. Сначала на металлургическом заводе, затем — слесарем в тресте “Продмонтаж”.

Родители товарищей, особенно Владькина мать, запрещали иметь дело с Андреем. Курит. Ругается. Начал выпивать. Без образования. Работяга грубый, да и только.

Потом была вечерняя школа. Три раза поступал в университет. На третий год родня отказалась понимать его. “В какой-то ниверситет лезет. Вон какие у нас институты! Сельхоз. Педагогический. И самый лучший — Горхоз (институт инженеров городского хозяйства). А ему давай ниверситеты!”.

Когда впервые приехал на каникулы студентом факультета журналистики, многие были изумлены. Уже не запрещали, а советовали знаться с Андреем.

Особенно матери девчат. Да и Владькина мать стала снисходительней. Ее все больше беспокоил сын. Кончил техникум и перестал учиться дальше. Глеб после техникума пошел в вечерний институт. Одновременно работал в крупном проектном институте. Два года был за границей — строил прокатный стан. Вернулся — занял высокую должность в своем проектном институте. А Владька так и застрял в мастерах, все дальше отставая от товарищей.

Андрей всегда считал, что карьеру многим мужчинам помогает делать женщина. У него был даже постоянный тост: “За мудрость женщины!” Он знал немало случаев, когда немудрые, самовлюбленные женщины губили и себя, и мужа.

Владьке не повезло. Правда, везение — это работа обеих душ и умов. Считать, что в твоих жизненных бедах виноват лишь кто-то, а ты здесь ни при чем — признак слабодушия, а то и слабоумия. Жена Владькина — маленькая, ниже его плеча женщина (Филонов, как и Глеб, был рослым мужчиной) — сразу заявила, что муж — ничто, и в семье главная — она. А на бабу взглянуть нельзя было без слез! Маленькие косточки обтянуты тонкой кожей; не то, что бедер и грудей — мышц на теле не было. На маленькой головке реденькие, пегие волосы и огромные, как окуляры водолазного скафандра, очки с толстенными стеклами.

Быть может, Владька бросил бы эту сову, но она успела родить дочь. У Филонова остались две отдушины: рыбалка и вино.

Услышав приближающуюся песню, он засветился, стал помогать горбоносому помешивать уху в котелке, не закончив, отдал поварешку и заспешил мыть стаканы в прозрачной донской воде. Его как током подергивало от предчувствия скорой выпивки.

Песня уже вошла в густой тальниковый кустарник метрах в двадцати от поляны, и два слаженных голоса громко допытывались:

— Зачем вы, девочки, красивых любите-и...

— Одни страдания ат той любви?..

Шагнув на поляну, Валентин Иванович и художник с радостью увидели Казарина и его друзей. За спиной каждый держал по полосатому, из матрасной ткани, мешку. Примерно на треть матрасы были набиты чем-то тяжелым.

— Во! Не успели вам стол накрыть! — крикнул Валентин Иванович. А развеселый художник песенно добавил:

— Дорога дальная — в казенный дом...

— Щас протрезвешь, — снова входя в тряс, объявил горбоносый. — Приехали мы, мама рóдная. У них в городе холера!

Оба певца разом отпустили мешки, и матрасы со звяком упали на песок.

— Э-э, вы чево? — подбежал к мешкам Казарин. — Ну, холера! Подумаешь! Не атомная бомба. От нее спасенье есть. Мы привезли хлорки. Главное, вас вытащить. Все дороги перекрыты. Прибывающие поезда останавливают в степи. Выезд — по особому разрешению.



— Особый случай, — спокойно заметил Пустовойтов.

— Да, особый. Но и в обычные дни не сказать, что много станов по берегу. А пройдет лет двадцать, будет в каждой семье одна-две машины, дорог настроят. Добраться сюда — два пальца опisać. Это сейчас мы на мотоциклах скребемся три часа. Машина доставит за час.

Захаров снова наполнил стаканы. Горбоносый по второму кругу начал разливать уху.

— И вот приедет Валентин Иванович через двадцать лет на Дон. А Дона нет.

Горбоносый замер с половником над чашкой.

— Куда он денется? Выпьют, што ль?

— Нет, река Дон останется. Берегов не будет. Каждый метр займут машины. Лесок вырубят на костры. Сортиры строить у нас не принято, поэтому все вокруг станов будет в говне.

— Н-ну, и нарисовал т-ты ка-а-артину Ш-шишкина “У-утро в с-сосновом лесу”.

— Так что в сегодняшнем плохом есть и хорошее. А в завтрашнем хорошем приличный кусочек дерьма. Такова логика развития цивилизации. Тысяча лучников не убьет столько людей, сколько один человек, сбросивший атомную бомбу.

Вдруг звякнул колокольчик на чьей-то донке.

— Моя! — вскочил художник Игорь. Любопытный Сергей Михайлович тоже встал. Остальные продолжали кто сидеть, кто полулежать возле костра, рядом с которым была расстелена клеенка и лежала еда.

— Крупняк! — крикнул от воды Игорь. — Лещ... Таких не было.

— Какую рыбалку испортила, — с грустью сказал профорг.

Все опять подумали о холере, и что-то жутковатое возникло во всеобщем настроении. Так бывает, когда давящая, подступающая со всех сторон ночь накрывает тебя в незнакомом, от темноты непроходимом лесу, и, понимая, что двигаться дальше невозможно — сломаешь ногу в навороченных невидимых навалах, останавливаешься; еще недавно большой смелый человек, вдруг начинаешь шевелить ушами, как лось, и уши вырастают чуть не в локаторы, чтобы уловить, откуда подползет, а потом прыгнет опасность.

— Может, ее нам заслали? — с недоумением спросил подошедший горбоносый. Он потянулся за стаканом, но Андрей резко остановил его:

— Руки! И ты, Игорь, руки помой!

Они с самого начала налили раствор хлорной извести в бутылку, привязали к дереву и, наклонив, ополаскивали руки.

— А чё! Э-запросто! Вон м-мы со своей ж-живем... я б-бы сказал: кошко-собачась. Уб-била бы, г-говорит. Ам-мериканцам нас отравить — м-милое дело.

— На хрена мы им нужны? — буркнул Пустовойтов. Взял стакан, потянулся за помидором. — Мы сами себе любую холеру сделаем. Наверху не найдем — где-нибудь откопаем.

Казарину не понравилась неожиданная для Глеба брюзгливость. Он в любой компании умел стачивать острые углы, а когда предстояло обаять очередную женщину, проникновенному воркованию Глеба не было предела.

— Вы рыбу всю засолили? — спросил он Захарова.

— Нет, часть закопали в песок. С утра выпотрошим, переложим крапивой.

— Т-там у вас р-рыбалка-то к-как? Н-на жареху п-поймать можно?

— Можно, — ответил еще сильнее захмелевший художник. — Маленьких отпускаем, а больших складываем. В спичечный коробок.

Все засмеялись, представив улов. Большинство ухи уже наелись и стаканы трогали неохотно. Только Владька Филонов и художник Игорь, подвинувшись ближе друг к другу, молча стучали стакан о стакан. Дров для костра “фарфористы” заготовили достаточно и костер поддерживали только против комаров. Брошенные в него две-три сырые ветки начинали дымить, ветерок нагибал дым то в сторону палатки, то на лежащих вокруг клеенки людей, и комарье пока не зверело.



Река, и без того в этих местах петлистая, здесь делала такой крутой поворот, что километров двадцать шла почти параллельно своему прежнему курсу. Из-за этого солнце садилось не со стороны меловых гор, где был запад, а в лесах и лугах пологого берега Дона. Светлость еще сохранялась вблизи палатки, но удаленный кустарник стал сливаться в одну темно-серо-зеленоватую массу.

Зато, начиная с середины Дона и дальше, до противоположных крутых берегов, вода сверкала. Словно полотнище тонкого сусального золота, приготовленное для покрытия огромного купола храма, временно положили на гладкую воду, а оно вдруг возьми да и расплавься.

— Господи, как хорошо все это, — тихо произнес Казарин. Он лежал, подставив левую руку под голову, и боялся шевельнуться, чтобы взглядом не сдвинуть золотого полотнища на середине реки. — Жить бы и жить вечно...

— Хотя бы долго, — также негромко сказал Пустовойтов.

— Долго — это все относительно, Глеб, — задумчиво продолжал Казарин. — Нищим, бедным студентом я купил книжку Мечникова. Чем ее название меня зацепило — “Этюды оптимизма” — сам не знаю. Но я ее начал читать. И два открытыя сделал для себя... На всю оставшуюся жизнь. О пользе молочнокислых бактерий... они продлевают жизнь... С той поры начал пить кефир. Ненавидел его до этого. Кислица... как сейчас вспомню — морду косоротит... На нормальный обед денег нет... Спасибо Хрущеву — сделал тогда в студенческих столовых бесплатный хлеб и, кажется, бесплатную капусту... В другом-то он — ба-альшая пада, а в этом — спасибо ему. Хлеб возьму... капусту... На чай наскребу. И обязательно — стакан кефира. Чтобы не скосоротило, добавлял ложки две сахара...

А второе... Как раз насчет жить долго. Мечников был убежден — нормальная жизнь человека — 120 лет. Потом ему самому надоедает.

— Хороший срок, — согласился Глеб. — Куда больше?

— Не знаю... Мне, наверное, никогда не надоест. Я вообще считаю: люди должны жить вечно. Надоело? Можно на время прерваться.

— Где же их всех разместить, если вечно жить будут? — спросил горбоносый. — У меня девять машин в транспортном цехе, а шоферов пятнадцать. Это которые на заводе. За ворота выйти, там еще сто рыл. А по стране — мама родная!

Наконец-то Казарин вспомнил, где видел этого горбоносого Сергея Михайловича. Начальник транспортного цеха! Два раза возил их с Захаровым по городку. Потом отвез Андрея к электричке с большой картонной коробкой, в которой был упакован купленный под видом некондиции хороший сервис.

— Это, Сергей Михальч, вообще не проблема. Мы сейчас... я имею в виду люди, человечество, живем как в начале освоения земли. Ну, разве это дело: дороги в городах — по земле, заводы — на земле, склады — на земле, дома лепят по сто этажей — тоже на земле. По ней гулять надо... по земле. А ее заводами и свалками увечат.

Я не знаю, сколько времени пройдет... может, сто, а может, меньше, но люди все, что называется инфраструктурой, уберут в землю. Мы уже свободно можем создавать под землей помещения, где благодаря компьютерам, новым осветительным приборам в комнатах будет настоящий дневной свет, здоровый воздух для дыхания, где за искусственными окнами — их не отличишь от сегодняшних на земле, они даже лучше будут, человек увидит, как настоящие, живые пейзажи. Захотел — берег моря... с шумом волн. Захотел — лес. И даже войти можно.

А про всякие склады, заводы, магистрали и говорить нечего. Единственная опасность — тектоническая. Но даже современная наука используется не на всю катушку. Появятся новые, неведомые нам сегодня прочные материалы.

Но земля — это маленькая часть возможностей. Океан — вот где могут процветать жить миллиарды людей. И не надо строить платформы, цепляться за дно. Дома со всеми удобствами, с разнообразными пейзажами за окном, с видом на зеленую лужайку с балкона, можно построить в глубинах

океана. Математические расчеты, опять-таки новые, пока незнакомые материалы, современные гироскопы позволят каждому дому, в каком человек захочет жить, — огромному или маленькому, “висеть” в глубине воды ровно, не подвергаясь никаким штормам.

Сейчас мы застраиваем, забываем, уплотняем землю коробками домов, создаем в одной плоскости магистрали, душимся от этого в пробках, а под землей делаем тоннели в разных направлениях, на разных уровнях.

— С-сказки братьев Г-гримм. Научили т-тебя, А-андрюха, сказки ра-асказывать. Только г-где деньги взять?

— Помолчи, Влахан, — грубо оборвал сбитый со своих видений Казарин. И, немного смутясь от этой резкости, добавил:

— Может, мы еще к старости чего-нибудь застанем.

— Ну, если к старости по Мечникову, — примиряюще заметил Глеб, — то застанем. Сто двадцать лет — хороший срок.

— А я вот не могу себе представить, — снова взволновался Андрей, — что такое сложное существо, как человек, исчезает бесследно. Ну, посмотрите: какие тончайшие и необъяснимые, какие скрытые процессы происходят в недрах костяной коробки, когда человек думает!

— Ты всех-то не обижай таким подозрением, — с улыбкой бросил Пустовойтов. — У нашего Влахана вся скрытая работа ума лежит на поверхности коробки.

Филонов услышал свое имя, повернул голову в сторону Глеба. Но не заметив продолжения, опять подтолкнул стакан художника, наполненный вином.

— Ну, ладно мышцы, кожа, кости — это все материальное, можно потрогать. А мысль? Вот мы думаем с тобой, видим там где-то... в мыслях, разные картинки, лица... Что это такое? Биохимический процесс? Нет, Глеб, пусть я темный, но не могу согласиться, что мысль, — не сам мозг, а мысль... может просто сгнить в земле.

От донской воды качнуло ветерком. Костер вспыхнул, и, как по команде, на всех набросились комары.

— Ё-моё! — вскочил Казарин, отмахиваясь. — Как мы спать-то будем? Палатка на сколько?

— Пятиместная, — ответил Захаров. — Но там десятерых можно уложить.

— Друг на друга, — скабрезно хмыкнул горбоносый. — Из-за отсутствия женских пар будем спать с комарами.

— Э-э-э, давайте их вы-ы-травим!

Заметно охмелевший Влахан не на шутку раскипятился:

— Я н-не могу! У меня кровь с-сладкая.

— У тебя не кровь. У тебя “Агдам”.

— Те-б-бе все шутки, Андрей. П-посмотрим, как тебя б-будут жрать.

— После тебя им никого не захочется. Тем более, кусают только комарики. Все лучше, чем твоя Нинка.

\* \* \*

Уснули почти сразу все. Городские устали за день, да еще набрались вина. Влахан и художник спали лицом к лицу, время от времени всхрапывая друг на друга. Горбоносый то бормотал, то вскрикивал во сне, толкал лежащего к нему спиной художника. Самым крайним с этой стороны палатки лежал Валентин Иванович. Он недолго повздыхал, повернулся и тоже уснул.

У другой стены палатки — спинами друг к другу — лежали Казарин и Глеб. Андрей попробовал пальцем зарисовать на стене палатки светлое пятно от костра, едва видимое через ткань, но голова кружилась, и вскоре он уже храпел.

Проснулся от того, что кто-то сел ему на живот. Не понимая сквозь сон, кто это так охренел — может, Глеб спяна? — он двинул руки вперед, чтобы столкнуть сидящего. Руки ни во что не уперлись, упали наземь, а сидящий вроде как шевельнулся и сильно надавил на живот. Казарин, смутно

просыпаясь, сел. В животе сперва полегчало, но тут же внутри как будто резанули бритвой.

“Что за чертовщина?” — пробормотал Андрей и, согнувшись, втянув живот, чтоб не повторилась резь, пополз на четвереньках из палатки. Нашупал фонарик, высунул голову наружу. Приподняв ее, исподлобья увидел темное, все в серебристых звездах небо, вдохнул похолодавший влажный воздух от близкой воды и только хотел порадоваться всему этому, как в животе забурчало, где-то в середине его уколело и нечто выпирающее стало давить к заднему проходу.

Схватив фонарик и забыв про кроссовки, согнутый пополам Андрей ринулся как можно дальше в кусты. Едва успел спустить штаны, как из него с треском и рыком понеслось.

“Чё ж это я сожрал? Может, Влахан пожалел чаю на огурцы? Скорей, “Агдам” попался... О-о-о! Несет! Поганый “Агдам”... Дорвались...”

После нескольких приступов стало легчать. Андрей еще посидел на корточках, улыбнулся в темноте (“сизу, как орел на скале”), и в тот же миг сознание обожгла мысль: “Холера!”.

“Нет... нет... какая холера? что-нибудь немьтое попалось... колбаса вроде с душком...”

Он распрямился, в животе оставался неуют, но не такой, как прежде.

“Холера... Она б устроила стул... Придумали, паскуды: стул. Понос!.. Все понятно. Краснов говорил, через пять — десять минут... Часы надо взять... Куда их сунул, дурак?”

Андрей раздвинул кусты, чтоб пойти в сторону палатки. Но тут боль опять пересекла живот.

— У-у-у, — эт что ж такое?

Он снова бросился в кусты. Теперь позывов было меньше, однако каждый раз изнутри как будто что-то выдирало крючьями.

“Обезвоживание... Скоро нечем будет дрить... пошли какие-то капли”.

И тут он понял: это Холера!

Отпал боком в сторону от места присидки, лежа скорчился, зажмурил глаза, ожидая очередного нападения каких-то вибрионов на его внутренности в животе.

“Где ж это зацепил? — с пронзающей тоской подумал Казарин. — На работе? Там все в хлорке. Глеб? Этот сразу стал аккуратен... Алку драит. Влахан? От этого козла всего схватишь... Жрет, даже руки не моет. Капитан! Вот чьи лапы он жал, а сколько на них вибрионов...”

Не то от прохлады земли, на которой, скрючившись, лежал Казарин, не то от свежеего ветра с Дона его начало трясти. “Озноб... Кажется, Краснов говорил про озноб... Это что ж — дело к концу? Как к концу?! — мысленно вскричал Казарин. — Конец — это смерть? Это что ж... конец того Мига?! Маленького отрезка — конец?”

Андрея снова, как много лет назад, сковал Ужас. Он всегда его помнил... С того февральского вечера.

Тогда он плелся по улице — она шла меж частных домиков в гору — с компанией своих товарищей. Кому восемь-девять... Кому — двенадцать. Они тащили в гору санки, чтобы потом за десять минут съехать на большой скорости с километровой крутой улицы-дороги.

Ему было одиннадцать. Любитель лазить по разным книжкам, зачастую не для его возраста, он за день до того прочитал в какой-то книге, что свет от ближайшей к нам звезды созвездия Альфа Центавра... этого Центавра почему-то запомнил особо... свет до нас идет миллион лет.

Он шел в гору, тащил тяжелые санки. Пальтишко, как у всех, утеплено простеганной ватой, шапка — треух с надорванным ухом — или кто хватил, или сам отбивался; правый валенок в носке протерся, и Андрей старался ступать на пятку, чтобы меньше снега попадало в дырку.

От ходьбы шапка спустилась на глаза. Он двинул ее со лба назад, поднял глаза и в просвете между сырыми, несущимися тучами увидел звезду.

В тот же миг неожиданная мысль приковала его к месту. А вдруг это та — из Альфа Центавра? Может, она потухла... Ее уже нет... А свет все идет. И будет идти миллион лет...

Его охватил Ужас... Что ж тогда наша жизнь? Он стоял, как примороженный к земле, и не мог представить себе этого миллиона. Только мысленно перебирал слова: умрет бабушка... состарится и умрет мать... Вырасту большой... состарюсь... и умру я. А свет от этой Центавры все будет идти... идти. И что же наша жизнь? Миг? Меньше мига?

Андрей бросил санки. Прибежал домой, уткнулся бабке куда-то ниже груди и так горько рыдал, как никогда до этого не плакал.

Испуганная бабка гладила его, трясла, целовала в мокрые щеки, все добивалась услышать, что произошло.

А он ничего не мог ей сказать. От Ужаса и Жалости. От Жалости к ней. К матери. К себе. К своим товарищам. Ко всем людям на земле.

С годами тот Ужас — огромный, липкий, черный, шевелящийся, как нечто кальмарно-жабье, стал являться Андрею реже. Скорее потому, что Казарин, чувствуя его приближение, напрягал все силы воображения и плотно забивал мысли чем-нибудь другим.

Но насовсем тот Ужас Мига так и не исчез из Андреевой жизни. Иногда он внезапно, как дьявол, появлялся откуда-то из глубин сознания, леденил душу и словно спрашивал: ну, как живешь? ты не забыл, что жизнь — это миг? А дальше — ничто. Сколько таких было до тебя?.. ты их можешь представить... знаешь, как они жили... Но они никогда не узнают, что стало после них. Они также хотели жить... обнимать женщин... но их нет... от каждого ничего не осталось... даже пылинки... малого атома... Так же будет с тобой... Со всеми, кто рядом сейчас и кто появится позднее... Никто не избежит конца и растворения в небытии...

Бурная юность и переполненная контрастами взрослеющая жизнь с ее радостями, страданиями, здоровьем, распирающей силой быстро заглушали изредка прорывающиеся в сознание мысли о неизбежности исчезновения, но сейчас, увидев явственно конец Мига, Андрей почувствовал, что каменеет от ужаса.

“Рвота... — вспомнил он слова Краснова. — Леденеют конечности...”

Казарин изогнулся, тронул ступни ног. Они были холодные. И пальцы рук — он четко это ощутил — ледяные. “Как зимой... когда без перчаток”...

В этот момент, видимо, от того, что изменилась застывшая поза, в животе что-то сжалось. Андрей вскопчил, попытался задницей в кусты. Организм не выделил больше ничего. Только спазмы прокатывались внутри живота.

“И это все? Дальше судороги? Я теряю сознание? Как теряю? И больше не очнусь? Значит, конец моего Мига? Господи! Сделай что-нибудь! Я еще молодой... тридцать два года... Наверно, много наподдил... Значит, я больше ничего не увижу? Завтра будет течь Дон. И послезавтра. Встанут мужики. А что будет через десять лет? Все забудут, что был такой... Будут новые люди... Города, о которых я говорил... А я ничего не смогу увидеть. Хоть бы лежать где-то... смотреть... радоваться за них... ругать...”

Но меня же не будет! Сгниет кожа на руках и ногах. На голове останутся волосы... Череп останется... А куда денется то, чем я сейчас думаю? Что это — мозг? Душа? Господи! Помоги мне! Мне надо жить!”

Казарин полураспрямился — живот как будто кто сжимал. “Сейчас заведу мотоцикл... Ключи у Глеба... Трогать его нельзя... Нельзя никого трогать... Влахан говорил: его мотоцикл можно завести спичками... Три спички. Надо тихо откатить. Проснутся... будут трогать... этого нельзя... Наверно, смогу завести... Ездил когда-то... Мне бы до хутора... Только до хутора... До телефона... Убью, если не дадут телефона. Краснова подниму. Буду умолять... никогда больше никакой критики... Только дозвониться... Пусть вертолет поднимает... Быстрее в больницу... Кроссовки надо... Упрощу Краснова... Миленький Юрь Василч... никогда не забуду... Где эти кроссовки — суки? Может, возле костра уронил? Штой-то звенит? В ушах звенит?”

Но звон повторился, и до Андрея дошло, что это тихо звонит колокольчик на донке. Тут же сработал рефлекс: надо подсесть. Он попробовал распрямиться.. Живот резануло. Андрей согнулся, но поспешил в темноте по сырому песку на звук колокольчика. “Последний раз...” — подумал на бегу.

Поддернул леску. В глубине рванулась рыба, потянула снасть. “Последний раз... Пусть последний в жизни”, — бормотал согнутый пополам Казарин, тем не менее ловко вытаскивая леску и рыбу из глубины. Выдернул на песок и не столько на прыгающий звук шлепков, сколько на видимые очертания — оказалось, светлота уже стала размывать ночь, он кинулся ладонями на рыбу, придавил ее. Это был хороший зобан. Андрей глядел на него, еще плохо различимого, но тутого, высекальзывающего, с азартом добытчика-победителя и в то же время с грустью человека, не знающего, зачем ему этот трофей и для чего он лишил жизни живое существо. Куда его? Выпустить? Но я его трогал. Унесет смерть... Бросить в яму в песке, где лежит остальная рыба? Еще хуже. Люди заразятся.

Пока возился с зобаном, сильно зазвенел колокольчик еще на одной донке. Она была самой дальней. Стремясь успеть, Казарин, полусогнутый, бросился по берегу. Азартно подсек, машинально выпрямился, чтобы оттянуть леску дальше назад. В животе что-то слабо кольнуло. Но страсть сразу погасила эту боль от укола: в глубине реки был достойный противник, и Андрей не мог ему уступить. То быстро, то медленно стал выводить леску, не давая рыбе сорваться.

Теперь попался хороший, метра на полтора, сом. Андрей вывозился в соминой слизи — “соплях”, долго доставал палкой из пасти крючок — сом заглотил основательно. Когда освободил леску и поднял сома под жабры, вдруг увидел, что на берегу стало светло.

— Ё-моё! Что это было? — шепотом спросил он себя, прислушиваясь ко всему своему организму сразу. К животу. К мышцам рук, держащих сома. К напряженным икрам ног. Пошевелил во рту языком: сухой, царапает, но облизнул, вроде посырел.

— Э-э, — крикнул негромко.

Краснов говорил, что будет только хрип.

— Э-э-э! — заорал Казарин, с радостью вслушиваясь в свой силоватый рев. “А-а, еще лицо... Нос заостряется... проваливаются щеки... Тогда совсем конец”.

Андрей бросил сома, обхалпал липкими, все в слизи, пальцами нос, брови, щеки. Все вроде было на месте.

— Фу, ё-моё! Мудак... теперь сам, как сом.

Он пошел прямо в штанах в воду, стал плескаться, чтоб смыть слизь.

— Ты чё орешь? — вылез наполовину из палатки Пустовойтов. Андрей из-под руки оглянулся. Лицо Глеба было помято, черные волосы сбились, как стрелы дикобраза, толстые губы отвисли, и даже яркие голубые глаза словно присыпало пеплом костра.

— Жить надо, а вы там... Миг упускаете. Небось, буксы горят?

— Горят, Андрей. Все во рту пересохло. Налей чаю. О-о, да ты сома поймал!

“Что ж это было? — разламывал голову Казарин. Он налил холодного чаю Глебу. Сам ничего трогать не стал. Чувствовалась слабость, но разгорающееся утро, прохладный туманец с реки быстро возвращали силы. Только обычной уверенности в себе не было. Как будто пришел из другого мира и все вокруг не очень знакомое.

— Я думал, тебя больше не увижу. Никого не увижу. Ничего...

— Собрался втихаря рвануть?

— Меня несло полночи. Все признаки холеры. Что Краснов говорил, испытал на себе. Хотел в хутор на твоём мотоцикле, но это тебя трясти... ключи искать.. А дотронулся — ты следующий.

— Дурак, — спокойно сказал Глеб. Отхлебнул чай, поднял синий взгляд на Казарина.

— Я бы тебя на руках унес.

Помолчав, добавил:

— Нельзя жить вечно... Но сколько дано, надо прожить человечно.

На разговор вылезли остальные. Стали быстро собираться. Вчера расхорихорились, о холере говорили с усмешкой, как о знакомой старухе, которая

заслуживает жалости. Сегодня помрачнели, чуть что — к бутылке с хлоркой, вспомнили, что Андрей обещал какие-то таблетки.

А он мысленно повторял один и тот же вопрос: “Что это было?” и сам себе строил разные ответы. Напоминание о скоротечности жизни? Этого Мига, который случайно нам дан стечением обстоятельств или какой-то высшей силой? Сигнал о том, что все может быть оборвано в одно мгновение, и останется только то, что успел сделать, а про всякие мысли, планы, расчеты не узнает никто и никогда?

Значит, надо уплотнять Миг, стремиться сделать больше. А что может сделать больше обыкновенный человек? Такой, как он, как миллиарды бывших до него, существующих сейчас и тех, кто придет позднее? Отмеченные Богом таланты, гении — добрые или злые — эти могут что-то сделать в отпущенный им Миг. Александр Македонский... 33 года. Иисус Христос... То же 33... Пушкин... Немного больше, но уплотнил свой Миг... А другие? Что можно сделать больше каменщику? Сложить больше кирпичей? Плотнику, который рубит дома из деревьев... Больше домов? Леснику, из чьих деревьев дома... Больше посадить деревьев?

Но, наверно, не это главное для нашего короткого Мига. Как там сказал Глеб? Если нет вечного, надо сделать больше человеческого? Вот она, цель нашего Мига. Человечное — это если даже одного согреть... того, кто заглянул в холод Ужаса... заставить его поверить, что и он не уходит бесследно. Мозг — это что? Желеобразная субстанция? А мысль? Страдание? Радость от того, что я снова вижу утро? Это что? Разве может это сгнить?

Человечное — это не когда рыдаешь над упавшим с балкона телом. Человечно — протянуть руку вставшему на перила балкона. Зажечь кусочек своего Мига, чтобы тот, на балконе, почувствовал идущее от тебя тепло и захотел вернуться к жизни.

А я подавал руку? Или толкал? Говорили: подавал. Но сам-то знаю — и толкал. Ну, может, не с разбегу... но не протянуть руку, излучающую тепло — это помочь толкнуть.

Очень хочется жить! Но хотел бы остаться жить ценой жизни других? Не знаю... Влахана тоже не собирался трогать... Вот кому надо руку подавать... А та... крыска в скафандре... чаще гонит к балкону. Чего он кричит? Меня, что ль, зовет?

— А-андрей! Н-не проснешься никак? Г-глеб тебе не д-докричится.

— В чем дело, Глеб?

— Ты, как всегда? Со мной?

Казарин, не выходя из своих мыслей, кивнул. Вещи на мотоциклы были уже упакованы и напоминали брустверы, из-за которых можно было стрелять. Художник сел на заднее сиденье “Урала”, втиснувшись между Владькой Филоновым и бруствером из вещей. Горбоносый королевствовал в коляске, блаженно доустриваясь в уютном гнезде.

Валентин Иванович стоял возле Глебового мотоцикла, ждал, когда займет место Казарин. А тот глядел на заросли кустарника, где корчился ночью от боли, поворачивал взгляд на Дон и словно прощался с какой-то значительной частью своей жизни.

— Садись, — подошел к нему Пустовойтов. Он понял мысли друга. — Ты же сам знаешь: ничего не изменишь. Об этом лучше не думать.

Пока мотоциклы трясло и бросало на ухабах проселочной дороги, Андрей, действительно, ни о чем, кроме как о спасении тела от ушибов и возможных синяков, не думал. Но когда выехали на шоссе, мысли снова вернулись к ночному потрясению. Только теперь они пошли в другом направлении. И толчком стали опять слова Пустовойтова. “Почему ничего не изменишь? — мысленно спросил Казарин. — Люди тысячи лет верят: здесь — часть жизни... а Там — другая. Где Там? Неизвестно... Но не может разум исчезнуть, не перейдя во что-то иное... разумное. Вот для чего дается нам жизнь! Продолжить цепь, начатую бесконечно задолго до тебя... Передать новому звену часть мириада генов, из которых сотворен сам... добавить своих... наполнить их человеческим. Чем больше человеческого отпра-

вишь в будущее, тем лучше будет Там твоему продолжению... и продолжениям других”.

Андрей представил себе людскую пирамиду, вершиной которой был он, а “тело” составляло бесчисленное количество мужчин и женщин. Некоторые были с ясно различимыми лицами, облики других просматривались слабей, третьи виделись смутно, вроде как из сумерек, а вся остальная масса почти полностью растворялась в этих сумерках времени. Но от всех от них к нему тянулись какие-то пульсирующие нити. Самые яркие, канатно-толстые — это мать с отцом. Послабей излучением, тоньше и многочисленней — деды и бабушки. Менее заметные пульсацией, с постепенным переходом в почти полную неразличимость — другие создатели его. “И ведь каждый что-то передал мне, — с благодарностью подумал Казарин. — При этом каждый был вершиной своей пирамиды, нити от которой шли не только вверх, но и в разные стороны, переплетаясь с другими, обогащая их. А многих ли я знаю из них? Что мы за народ такой? Дальше дедов-бабок, в лучшем случае — их родителей, не проникаем вглубь корней своих. Ну, кромсали нас — это действительно так; вытравливали ту часть разума, которая хранила память о предках... Но другие народы тоже прошли “истребительное очищение”, однако не позволяют себе корни свои забывать. А мы даже не пробуем восстановить атрофированное... не глядя назад, в тех, из кого сами состоим. И укорачиваем свою жизнь, делаем ее Мигом... Чем дальше человек проникает узнаванием к истоку своему... к затерянному во времени началу цепи своей, тем дольше оказывается и его жизнь. Помни ближнего своего... Это — человеческое рядом. Но помни дальнего своего, ибо он есть часть жизни твоей... А это уже не Миг. Не страшно уходить, когда знаешь, что останешься в других, как твои предшественники в тебе... что являешься частью Вечного... непрерывного... знаешь, что продолжил тысячи создававших тебя... В чем-то повторил их... продвинул дальше и сам повторись... Пусть несколькими генами... и Там... впереди... в неохватной дали будущего... при каждом новом рождении появится часть тебя — материализованного и духовного”.

И этот поворот мыслей поразил Андрея. В сознании, сквозь вязкую черноту страха и тоски, стало вдруг проискривать что-то светлое. Искорки осветили сначала малое пространство вокруг него; потом темное отодвинулось дальше и вот уже почти всё казаринское сознание залила теплая светлота.

Почти всё, но не всё. Сосущая темь осела в самые отдаленные уголки души и, скатая, как пружина, готова была отбить разрывающуюся светлую теплоту. Однако теперь Андрей понимал, что, кажется, нашел для себя успокоение. Жизнь — этот короткий Миг — имеет главный смысл: передать в будущее... тем, в ком повторись хотя бы частью малой, через свои дела, чувства и мысли как можно больше человеческого...

И успокоенный, а от этого как-то сразу расслабленный, Казарин стал проваливаться в дремоту. Он почти заснул, слегка покачиваемый на слабых неровностях дороги, как вдруг жутковатая мысль пронзила его сознание. “Ё-моё! Кому ж я передам себя? Ни сына, ни дочери... Нет продолжения моего... Самого прямого продолжения... Умер бы ночью на Дону — и цепь оборвалась...”

Та распирающая гордость, которой пыжился всякий раз, когда он говорил о своей свободе, теперь скукожилась, обмякла, словно проткнутый воздушный шарик. “Любовь... А что такое — любовь? Никто не может рассказать. Машут руками. Окают, цокают. Нельзя жениться без любви... Кто доказал правоту этого? Без ума нельзя... Слияние страстей лопаются чаще и больней, чем союз умов”.

Андрей вспомнил своего университетского товарища Олега Норкина. Их любви с филологиней Оксаной завидовал весь курс. Сдавая экзамены по древней, средневековой, классической и современной литературе, филологи и журналисты оглядывались на эту пару. Вся литература — от зачатья до сегодняшних романов — это история любовей.

Через три года после университета Казарин заехал к Норкиным в Ярославль. Собирался побывать несколько дней. Знал: в городе много интересно

го. Но уже спустя сутки сиделся в поезд. Провожавший на вокзале Норкин говорил что-то необязательное, пустое; смущался, видя обескураженное лицо Андрея, и только когда Казарин по неосторожности упомянул имя его жены, темнел взглядом, зло матерился и не сразу мог взять себя в руки. Так же, если не сильнее, раздражал Оксану Норкин. Самой нежной в этом котле злости, отчуждения, неприязни была дочка Норкиных — Мариночка. Андрей гладил ее светлые кудряшки и думал о будущем этого плода любви, растущего в парах ненависти, о недопустимом легкомыслии человечества, которое тратит силы и огромные средства на что угодно: обогащение, войны, развлечения, но только не на самое главное — здоровое продолжение самого себя. Непременным условием для заключения брака считают любовь. Но этот дурманящий эфир вскоре испаряется. Тем быстрее, чем менее разумно люди подходят к созданию союза. И через короткое время выясняется, что у двоих нет ничего общего. Все разное, несовместимое.

Потом на собственном опыте Казарин пришел к выводу: любовь — это наркотический дым. Угар проходит — остается резь в глазах.

Сначала Андрею нравилось, что у Любы на все явления жизни есть свое мнение и почти всегда противоположное казаринскому. Он азартно разубеждал ее, приводил неоспоримые факты. Подруга весело отмахивалась. Заметив, что Андрей начинает злиться, соглашалась. Позднее, когда Люба стала женой, до него дошло: соглашалась для вида. Опасалась оттолкнуть его. Через пару лет окончательно понял: если что и любила, то прежде всего саму себя, свои привычки, капризные желания.

“Тогда чем хуже иметь рядом Шуручку?” — подумал Казарин, и от этой ошеломившей его простой мысли даже привскочил в коляске. Мотоцикл качнуло. Глеб искоса глянул сверху на друга. Тот махнул рукой: “Все в порядке”. А сам не мог оторвать мысленного взгляда от лица Шуручки, ее фигуры в обтягивающем халатике, ласковой улыбки. “Чего еще надо? — перебирал в уме. — Главное для нее — ты. Симпатичная... черт, вроде даже красива... Не рвет платье на груди: мое мнение... его вырастить надо — свое мнение... Когда в квартире уберет — уходить не хочется”.

Вдруг казаринские переборы оборвал громкий голос Глеба:

— Ты гля, чё творится! Граница на замке!

Впереди показался пост ГАИ. Уже издалека было видно: обстановка накалилась. Транспорт занял обочины и на въезд в город. “Сейчас приеду — сразу позвоню”, — подумал Андрей, недовольный тем, что приятные размышления как-то сразу оборвала совсем не приятная действительность.

Вчерашнего капитана не было. От наседавших водителей отмахивался худой майор. На пост добавили офицеров и нижних чинов — надо было сдерживать натиск и со стороны области. А на выезд машин и мотоциклов стало еще больше. Суббота, жара — тридцать пять в тени, пересыхают неполитые огороды на дачах. Люди обещали родственникам и друзьям приехать. Но карантин все перекрывал наглухо.

Казаринскую команду долго держали перед барьером. Майор уходил звонить. Вернувшись, снова недоверчиво и хмуро изучал пропуска, пыхал на них дымом сигареты, словно рассчитывал выявить подделку. Андрей начал злиться, учащенно засопел, что было признаком близкой вспышки гнева, но Пустовойтов, зная натуру друга, опустил тяжелую руку на плечо: “Не заводись. Смотри, сколько их стоит”. Показал на транспортное скопище.

Майор неохотно отдал пропуска.

— Разойдись! — заорал толпящимся около барьера людям. Видно было: ему неудобно перед распаренным, злым народом за начальниковых блатных. Зло растер ботинком окурок, гаркнул:

— Больных холерой везут!

Мужики отпрянули. “Молодец! — подумал Казарин. — Лучше всякого оружия”. Но отъезжая, услышал майорское злорадное:

— Может, не довезут. А вы останетесь живы.



Выезжая с Дона, Андрей рассчитывал до поезда завезти “фарфористов” к себе. Показать квартиру, сервис. Конечно, “на дорожку” выпить — после всех переживаний оно было кстати.

Но хмурый майор украл время. Пришлось везти рыбаков сразу на вокзал. В купе вчетвером выпили водки — Андрей немного, наскоро. Глеб и Влахан должны были отогнать мотоциклы и — сразу к нему домой. Не хотел Андрей засиживаться еще и потому, что не терпелось скорей позвонить в поликлинику Шурочке. Его даже подергивало; какая-то дрожь прокатывалась по мышцам — так хотелось быстрее сказать женщине о своем решении.

Не дожидаясь, когда полупустой поезд тронется, быстро пошел домой.

Обычно он звонил в регистратуру. Там было известно, где в этот момент медсестра Раскатова, и давали телефон. Однако сейчас регистратура молчала. “Все ушли на фронт, — ядовито подумал Андрей. — Отбиваться от дристунов”.

Набрал номер старшей медсестры. Она знала его. Первое время переживала за мать. Потом — за Шурочку. Когда встречала Андрея в поликлинике, глядела с укоризной и сожалением. Однажды сказала: “Хорошую пару теряешь, Андрей Петрович”. Казарин смущенно хмыкнул, ничего не ответил. Ему нужен был больничный — приближалось открытие охоты.

Теперь он ей кое-что расскажет и, пожалуй, пригласит на свадьбу — родных у Шурочки почти не было.

Странно, но и телефон старшей медсестры не отвечал. Андрей уже хотел положить трубку, как вдруг услышал усталый голос. Это была старшая. — Валентин Васильна? Здравствуйте! Где наша Раскатная?

В разговоре со старшей медсестрой он иногда весело переименовывал фамилию Шурочки.

— А-а, Андрей Петрович? Нет нашей Шурочки. Она во 2-й инфекционной. В десять утра отвезли.

— Как? Почему в инфекционной?

Старшую медсестру, похоже, кто-то позвал. Она крикнула в сторону: “Иду!” и, уже торопясь, ответила Казарину:

— Холера, Андрей Петрович. Достала нас холера.

Казарин растерянно посмотрел на трубку, откуда пошли короткие гудки. Это был даже не удар. Это было обрушение. Здание, которое секунды назад стояло прочно и надежно, в один миг рухнуло, превратившись в груды панелей, бетонных блоков с торчащей арматурой и кусков стен с порванными обоями. “Как отвезли? При чем тут инфекционная больница? Может, медиков спасают отдельно? Ведь осужденных милиционеров не сажают в общий лагерь... для них — своя зона... О чем я? Это же холера! Здесь нет особых! Все равны... Перед чем? Равны перед смертью? Шурочки нет?!”

Андрей вскочил со стула, выпученным глазом посмотрел на телефон. Снова кольнуло под сердцем, как когда-то при умирающей матери. Подумал: звонить нельзя. Никто по телефону ничего не скажет. Ему не нужны слова... Он должен вытащить Шурочку... Если она жива.

Казарин знал, где 2-я инфекционная больница. Там когда-то лежал Шведов. Остановил на улице машину. Предложил денег в два раза больше. “Только лети! — сказал шоферу. — Найти надо”. “Жену?” — почему-то спросил водитель. Андрей кивнул, не удивившись ни вопросу, ни своему согласию.

Ворота больницы были закрыты. На проходной вместе с вахтером стоял милиционер.

Когда Андрей приезжал к Шведову, такого строго карантина не было, но все равно кого понало не пускали — больница-то инфекционная. Тогда вместе с другими посетителями Казарин пользовался дырой в боковом заборе.

Дыру заделали, но, присмотревшись, Андрей увидел, что доски висят кое-как. Раздвинул их, протиснулся, в спешке поцарапал руку.

Приемный покой виднелся вдалеке. Стараясь не попасть раньше времени на глаза, Андрей сначала шел за кустами, потом стал огибать с тыльной

стороны одноэтажное, розового цвета зданье. Обогнул и оказался перед входом в него. Взгляд зацепил вывеску: “Морг”. Рядом со ступеньками был пандус: по нему в этот момент два мужика в грязно-белых халатах везли каталку, накрытую серой накидкой. “Молодая еще, — безразлично проговорил один. — Жить бы да жить...”

Андрей глянул на каталку и понял, что речь о ком-то, кто закрыт серой синтетической тканью. В три шага подскочил к санитарам, протянул руку к покрывалу.

— Куда, черт, лезешь?!

— Молодая! Кто она — молодая?

— Тебе-то какое дело? Студентка. Приехала на каникулы из Саратова...

— А почему здесь?

Молчавший до этого второй санитар скупно обронил:

— Вирус. В три дня сгорела.

“Студентка... Саратов... Три дня... Три дня назад Шурочка была здорова...”

Он радостно отдернул руку, но тут же устыдился своей радости.

“Родителям-то как!.. А другу?..” Тревога вмиг смыла радость. Шурочка где-то здесь... Не на этой каталке, но где? В морге? В палате?

Казарин, уже не причесав, быстро зашагал к приемному покою. Там стоял гомон, ходили туда-сюда люди: кто в белых халатах, кто в синих. Андрей схватил за рукав оказавшуюся рядом женщину: широкую, грудастую, с громким прокуренным голосом.

— Вам чего? — рыкнула она.

— Жена тут моя... Где-то в больнице...

— Как вы сюда попали?

— Жена... Она медсестра... Привезли утром...

— Вы поглядите на него! Это что у нас за охрана?

На зычный голос оглянулась проходившая мимо молодая женщина в белом халате и аккуратной белой шапочке.

— Что здесь происходит?

Остановилась, усталым взглядом посмотрела на Андрея.

— Сказали: тут моя жена... Медсестра она... Раскатова... Шурочка.

— Сегодня несколько человек привезли. Добавили. Наших сил не хватает. Вон та из 12-й поликлиники. Кажется, Сашей зовут. Саша! Как твоя фамилия?

— Раскатова...

Андрей услышал голос и весь обмяк. В области сердца снова кольнуло. Это был голос Шурочки. Повернулся и увидел ее.

— Шурочка! А я думал: все! Валентин Васильна брякнула... Увезли тебя! Холера!

— Их всех привезли на машинах, — улыбнулась молодая женщина. — Люди нам нужны срочно. Готовимся к возможному наплыву холерных...

— Нет, она просто дура. Ляпнуть такое! Хотел ее пригласить на свадьбу. Теперь — пошла к черту. Свадьба будет! Понимаешь?

Обрадованная при виде Андрея Шурочка моментально изменилась в лице. Умом давно понимала: когда-то ей придется услышать о его свадьбе. Но если так, то лучше услышать от других. А тут он сам выплескивал на нее свое счастье.

— По... поздравляю...

— Вы посмотрите на нее: она не понимает!

Казарин не мог устоять на месте. Вертелся, быстро переступал с ноги на ногу. Только сейчас до него дошло, кого он едва не потерял. Подтолкнул под локоток бабу — иерихонскую трубу. Заглянул в глаза молодой врачихи. Кивнул в сторону Шурочки.

— Она ничего не понимает! Вы видите? А я все понял! Свадьба будет! Наша!

Андрей вдруг замолк, подкаменел лицом, будто заглянул в нечто такое, что мог разглядеть он один. И с надеждой в голосе спросил:

— Ты согласна?